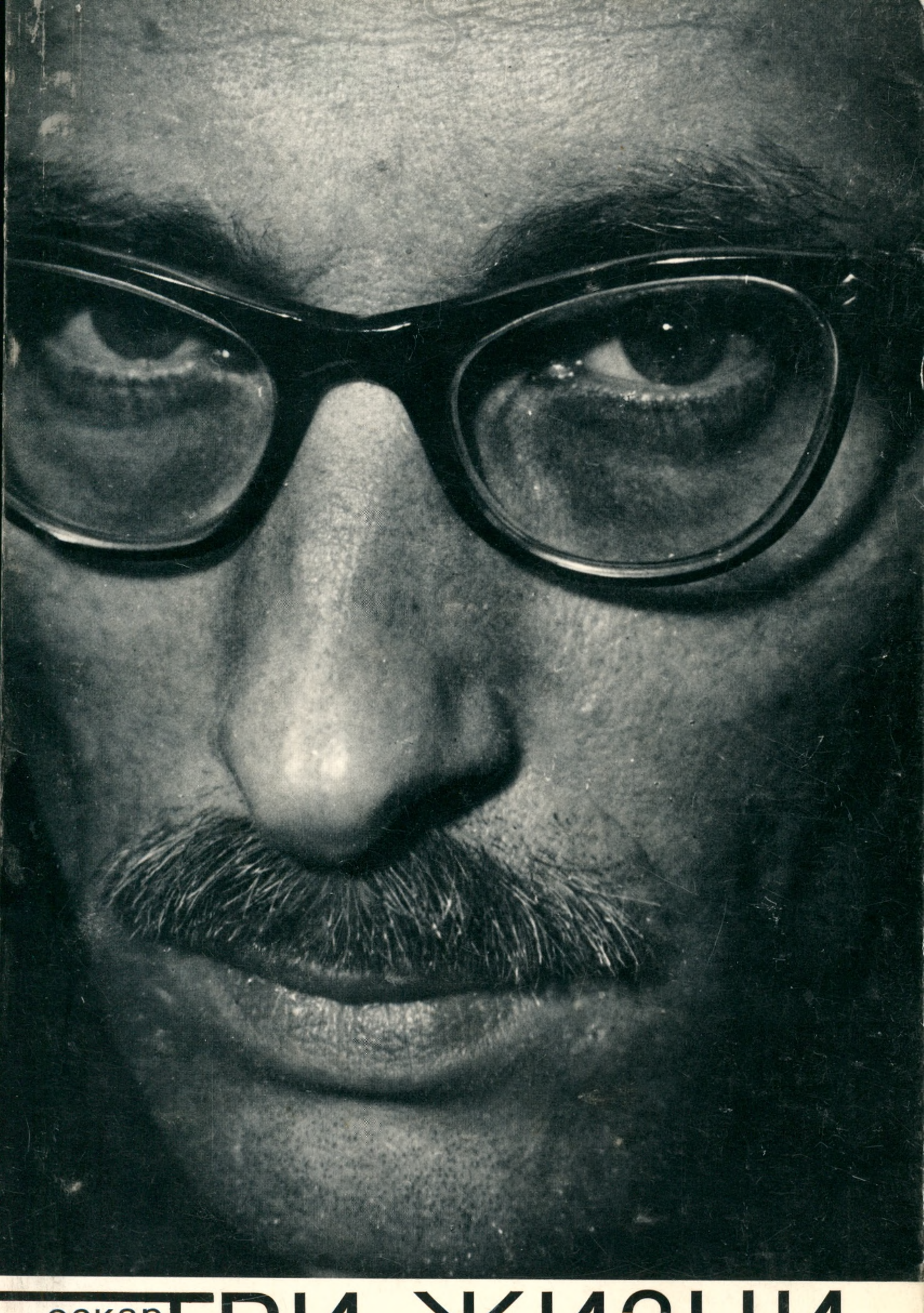


оскар
рабин

ТРИ ЖИЗНИ

Oscar Rabin

THREE LIVES

MEMOIRS

C.A.S.E./Third Wave Publishing
Paris — New York
1986

Library of Congress Catalog No. 86 011 210

Оскар Рабин

ТРИ ЖИЗНИ

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ

Издательство
«Третья волна»
Париж — Нью-Йорк
1986

Редактор Джемма Квачевская
Художники Виталий Длуги и Григорий Копелян

ISBN 0-937951-00-5

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МОЯ ПЕРВАЯ ЖИЗНЬ

СИБИРЬ МОЕГО ДЕТСТВА

Я родился 2 января 1928 года в Москве. Мои отец и мать, по образованию врачи, познакомились в Цюрихском университете, где оба учились. Отец – Яков Рабин, родившийся на Украине еврей, которого я почти не помню (он умер, когда мне исполнилось шесть лет), мать – Вероника Леонтина Андерман – латышка. Она умерла, когда мне исполнилось тринадцать лет. До замужества жила с родителями, у которых был небольшой хутор недалеко от Риги. Про отца рассказывали, что он был красивым, веселым и очень нравился женщинам. Из его семьи я знал лишь двух теток, которые жили с нами в Москве в коммунальной квартире.

Дедушку по матери, учителя, во время революции 1917 года, как и большинство латышских интеллигентов, красные забрали как заложника и вскоре расстреляли. Старшая сестра матери тетя Тереза девушкой работала гувернанткой в богатых русских и латышских семьях, а после замужества вернулась в родительский дом. Когда мать была жива, тетя Тереза с ней переписывалась и уговаривала вернуться в Латвию. Однако выехать в Латвию, бывшую в то время буржуазной республикой, было невозможно, к тому же не думаю, что матери очень хотелось уезжать. Политикой она не занималась, однако, насколько я помню, считала советскую власть справедливой, а когда без разбора сажали и расстреливали, верила, что уничтожают врагов народа. Впрочем, это, может быть, говорилось для нас – детей.

Врач-терапевт, мать отличалась добросовестностью и самоотверженностью. Рассказывали, что во время эпидемии чумы и холеры в округах, где она работала, мать добровольно ездила на самые опасные участки. Ее я запомнил очень хорошо. Женщина среднего роста и крепкого телосложения, с широким лицом и серо-голубыми глазами (глаза у меня материнские), она одевалась всегда очень скромно и носила в основном платья спокойных, темных расцветок. Очень сдержанная, она редко улыбалась. Когда мать бывала мной довольна, она легонько гладила меня по голове, и это был единственный жест, которым она выражала ласку. На меня у нее почти не оставалось времени. Зарплата у врачей была очень низкой, и для того, чтобы содержать семью, матери

приходилось работать в двух клиниках. Она не любила заниматься домашним хозяйством. Когда жив был отец, мы держали домработницу, а когда уехали в Сибирь, то домашнее хозяйство вела одна из сестер отца тетя Груня.

В 1934 году, когда мне исполнилось шесть лет, отец с матерью завербовались работать на Крайнем Севере. Отца назначили заведующим культбазой в Ханты-Мансийский национальный округ, а мать – главврачом на этой же базе. Мать, медсестра тетя Груня и я отправились первыми. Отец со старшей приемной дочерью Лидой должны были приехать через несколько месяцев. Однако нам больше никогда не довелось его увидеть. Вскоре после нашего отъезда он умер от рака желудка. Мать поехать в Москву на похороны не могла, потому что поездка туда пароходом и поездом заняла бы не меньше месяца.

Ханты-мансийская культбаза была торговой конторой, куда еще до революции торговцы пушниной приезжали закупать меха у местных охотников и оленеводов. Расплачивались патронами, мукой, солью и спичками. От конторы к культбазе перешли и функции торгового центра. Вспоминаются приезжавшие ханты и манси, до бровей закутанные в малицы и подгонявшие длинным шестом оленьи упряжки, которые, казалось, летели по воздуху.

Ближайший город Березово на Оби (сюда когда-то сослали впавшего в немилость фаворита Меньшикова) находился от нас в двухстах километрах, но добраться до него было нелегко. Зимой добирались до Березова на оленьих упряжках по притоку Оби Казым-реке, летом ждали катера, который раз в месяц привозил на культбазу разные товары. Я чувствовал себя, как рыба в воде – играл с приятелями – детьми работников культбазы, ходил в местную школу, находившуюся в соседнем доме. Там нас почти ничему не учили и никаких уроков не спрашивали, так что при неплохих, в общем, оценках, мне пришлось впоследствии в Москве еще год сидеть в том же классе. В большом деревянном доме, кроме нас, жили другие сотрудники и находились разные служебные помещения. У культбазы был свой магазин, маленькая радиостанция, школа и больница. Каждая семья обеспечивала себя всем необходимым – пекла хлеб, держала скотину, разводила огород. У нас тоже была корова, мать пыталась выращивать огурцы, однако, лето, хоть и жаркое, было таким коротким, что овощи не созревали.

Ханты и манси приезжали на культбазу за мукой, солью и патронами, а культбригады разъезжали по стойбищам для проведения культурно-воспитательной работы. Местные племена в поисках пищи для оленей кочевали с места на место, поэтому культбригадам приходилось бороздить огромный Ханты-Мансийский округ из конца в конец. Бригады вели пропаганду и агитацию, развозили афиши и плакаты и устраивали иногда небольшие концерты. Экспедиции длились по нескольку суток и мать постоянно участвовала в этих поездках. И не столько в качестве врача (местные пациенты предпочитали лечиться у своих шаманов) сколько как агитатор для чтения лекций на медицинские темы. Языку ханты и

манси она научилась очень быстро, но дела шли неважно: деятельность агитаторов шаманы рассматривали как вмешательство в их дела и нарушение вековых традиций.

Однажды мать заболела и не смогла поехать в очередную экспедицию. И как раз именно из этой экспедиции на культбазу никто не вернулся. Всех до единого агитаторов по приказу шаманов зарезали. Для расследования из Березова нагрянула милиция, организовали облаву, наделали много шуму. Однако шаманы даже и не пытались прятаться. Их всех тут же арестовали. Перед глазами проплывает мрачная картина: скользящие по Казымке упряжки с убитыми и сидящие рядом недвижные фигуры связанных шаманов. Насколько мне помнится, убийц приговорили к десяти годам заключения – наказание исключительно мягкое по тем временам за такое преступление. Тогда власти еще более или менее снисходительно относились к полудиким народностям, которые рассматривались как отсталые и нуждающиеся в воспитании.

Я ПИШУ ПЕРВУЮ КАРТИНУ

Через три года договорный срок матери кончился, и осенью 1937 года мы вернулись в Москву. Я был счастлив. Москва – это Кремль, где живет Сталин, Москва – это мороженое и конфеты в магазине напротив. Наша квартира находилась в центре Москвы, в старинном красивом доме с высокими потолками. В ней было семь комнат. До революции квартира принадлежала аптекарю, которому оставили три комнаты, в двух жила семья хирурга, шестую занимали мы с матерью и приемной сестрой, а в седьмой жили мои тетки и двоюродная сестра.

Года три я вел жизнь обыкновенного московского мальчишки – ходил в школу, учился играть на скрипке, носился по двору с приятелем. Собственно, скрипка была мне ни к чему, но мать решила, что у меня хороший музыкальный слух, и повела в соседнюю музыкальную школу Подбирать на слух разные мелодии мне нравилось, но гаммы я не любил. Совсем другое дело – уроки рисования. Их я всегда ждал с нетерпением, и считался одним из лучших рисовальщиков в классе. Впрочем, прочтя в то лето Чехова, я вдруг обнаружил в себе писательский дар и даже сочинил несколько пьес.

Но вскоре меня охватила новая страсть. Как раз в это время, в пору процессов и повальных арестов 37-го года в Москве заговорили о создании будущего Дворца Советов, который собирались строить на месте взорванного храма Христа Спасителя. Дворец представлял собой гигантский конус, увенчанный статуей Ленина. Над проектом Дворца работали лучшие советские архитекторы, и я тоже вбил себе в голову, что должен представить собственный проект. Прежде всего, статую Ленина я решил заменить статуей Сталина. Мне казалось, что этого требует элементарная справедливость. Однажды в классе между ребятами зашел спор, кого бы они стали спасать от смерти, если бы пришлось выбирать между Сталиным и родным отцом. Я сказал: "Сталина, ко-

нечно!" Теперь все свободное время я пыхтел над созданием схем и рисунков, но проект так никогда и не закончил. У архитекторов тоже, насколько мне известно, с этим делом ничего не получилось. В дальнейшем там вырыли бассейн "Москва", существующий и поныне.

Приблизительно за год до войны в нашей школе открылся кружок рисования, в который я немедленно записался. Там я узнал, что можно рисовать натюрморты и делать копии с античных скульптур. Иногда приходили даже натурщики. Я стал рисовать каждую свободную минуту – рисовал в школе почти на всех уроках, рисовал дома, пока мама не загоняла спать. Карманные деньги, уходившие прежде на конфеты и мороженое, тратились теперь на краски и кисточки.

Видя, что мой пыл не угасает, мать дала мне денег на краски, сам я тоже сэкономил несколько рублей и купил уже подготовленный к живописи картон размером 50 на 70. С таким солидным живописным материалом я решил скопировать валявшуюся дома дореволюционную открытку с изображением зимнего поля с маленькими домиками. Открытка была многослойной, и когда ее рассматривали на свет, казалось, что в окнах зажигается оранжевый теплый огонь. Я срисовал открытку на картон и, гордый, понес в кружок. Однако учитель покачал головой и сказал, что рисовать нужно только с натуры и ни в коем случае не с почтовых открыток.

Мне очень не нравилось рисовать с натуры. В кружке я рисовал, как и все, а дома продолжал копировать картины и открытки. Мать от моей живописи отмахивалась – я ничего в этом не понимаю – и мне не мешала. Я рисовал, как хотел. Кроме того, живопись оказалась для меня отличным отвлекающим средством. Я был робким и застенчивым, носил очки, и ребята на дворе прозвали меня очкариком. С утра до ночи они носились по двору, как угорелые, и я отчаянно им завидовал. К себе они меня не подпускали, смеялись надо мной и, еще издали увидев, кричали: "Катись отсюда подальше, очкарик!"

Я не понимал, за что они меня ненавидят, и все больше их боялся. Однажды я пошел за хлебом. Не успел выйти из подъезда, как они меня окружили, засвистели и заулюлюкали. Подскочил какой-то мальчишка даже меньше меня ростом и принялся меня колошматить. Давясь слезами, я кое-как пытался отвечать, но не выдержал и позорно бежал. С тех пор, идя в магазин, я делал большой крюк и вообще пускался на всякие хитрости, чтобы не попадаться мальчишкам на глаза. Добавлю, что и потом, в течение всей своей жизни, я с трудом выносил коллектив. Из-за этого боялся идти в армию, и если пытался сойтись с чужими или малознакомыми людьми, то совершенно терялся и переставал быть самим собой. Лишний раз в этом убедился, когда в 1974 году купил в деревне избу и, пытаясь подделаться под мужиков, с ними выпивал, болтал и шутил. "Своим" я для них не стал, все получалось у меня натянуто и неестественно, короче, я по-прежнему оставался "очкариком".

Приблизительно за год до войны здоровье матери стало резко ухудшаться. Полученный в Сибири ревматизм осложнился тяжелой

болезнью сердца, и когда в Москве начались бомбежки, она не могла подняться с постели даже для того, чтобы сойти в бомбоубежище. Заработков в семье не было никаких. Сначала мать пыталась одалживать у знакомых, но вскоре все знакомые эвакуировались, а оставшиеся были такими же нищими, как и мы. В коммуналке остались лишь мы с тетками. В квартире стоял жуткий холод, а вскоре мы узнали, что такое настоящий голод. Придешь, бывало,в магазин отоварить карточки, а там все полки пустые. Покупать на рынке было не по карману, а все маломальски ценные вещи мама давно обменяла на хлеб.

Московские школы закрылись, почти все ученики эвакуировались. Мама настояла на том, чтобы я записался в ремесленное училище, где хоть кое-как кормили. К тому же она боялась, что от безделья я стану беспризорником и меня затянет улица. Но не успел я появиться в ремесленном училище, как меня встретили таким же улюлюканьем, как мальчишки на нашем дворе: "Глядите-ка, к нам очкарик пришел!" Насмешки не прекращались, я тяжело переносил пренебрежение товарищей, и при первой же возможности, уже после смерти матери, из ремесленного ушел.

Зима сорок второго года была особенно страшной. Мама умирала. Она недвижно лежала под грудой одеял и шерстяных платков и хрипло, прерывисто дышала. Однажды она меня подозвала и попросила, чтобы я съездил в гостиницу "Москва", где остановился бежавший из Риги от немцев ее старый знакомый Кирхенштейн. Она прочла об этом в газете. Когда-то он учился с мамой в одном университете, был в нее влюблен и даже сделал ей предложение. Больше всего Кирхенштейна оскорбило, что она, латышка, предпочла ему еврея. Он был коммунистом, националистом и ярым антисемитом.

Я пришел к нему в гостиницу "Москва". Профессор, пристально меня разглядывая, внимательно выслушал, что-то записал и обещал зайти. Через несколько дней он действительно зашел и принес большой пакет с лекарствами и витаминами. Тяжелое состояние матери, которая к тому времени начала опухать, да и вообще вся убогая обстановка Кирхенштейна поразили. Он задал несколько ничего не значащих вопросов, попрощался и быстро ушел. Витамины и лекарства были, конечно, царским подарком, однако мать грустно вздохнула: лучше бы он принес буханку черного хлеба!

От водянки мать сильно опухла, и один из ее друзей — врач настоял, чтобы ее срочно положили в больницу. Там она и умерла. Когда позвонили из больницы и сообщили об этом, я почувствовал, что в горле у меня застрял ком, но плакать не мог. Через три дня ее хоронили, но мне надо было обязательно идти в училище, потому что предстояла поездка на военный завод. Часам к двенадцати я испугался, что могу опоздать в крематорий, и, несмотря на застенчивость, рассказал все мастеру. Меня отпустили.

Когда я приехал в крематорий, гроб уже собирались опускать. Мать

лежала в темном шелковом платье с ногами, прикрытыми полотенцем. Лицо, обычно бледное, казалось розовым и почему-то влажным. Гроб медленно опустился, створки захлопнулись, и церемония закончилась. Домой возвращались тетки, сестра Лида и я. Больше на похороны никто не пришел. Оставшись дома один в ледяной, черной от копоти комнате, я плакал долго и не мог остановиться.

С этого времени я оказался почти один. Лиде было не до меня. С утра до ночи она работала на военном заводе и домой приходила только ночевать. За малейшее опоздание там срезали зарплату, а за повторное сажали в тюрьму. Поработав с полгода, Лида решила, что в армии ей будет лучше, записалась добровольцем и ушла на фронт. Там она стала снайпером, говорила, что убила десятка два немцев, и о ее подвиге даже писали во фронтовой газете. Трудно объяснить, почему впоследствии у меня с приемной дочерью родителей Лидой не было ничего общего. Мы никогда не встречались, друг другу не звонили и не переписывались. Много лет спустя, незадолго до моего отъезда на Запад, когда у меня с властями было особенно много неприятностей, Лида вдруг к нам приехала, но дома меня не застала. Она исчезла так же неожиданно, как появилась. Больше я ее никогда не встречал.

ОДИН В МОСКВЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Пока жива была мать, я постоянно чувствовал ее внимание и скрытую ласку. После ее смерти до меня никому не было дела. Тетки болели. Одну из них вскоре разбил паралич, двоюродную сестру насмерть сбило грузовиком. Целый день я лежал один под грудой одеял в промороженной комнате и думал только о том, чтобы поскорее наступило утро, когда я пойду в магазин и отоварю свои четыреста граммов черного хлеба. Об этом вязком маленьком кусочке я думал непрестанно и заранее представлял, как положу его на язык, как буду жевать. Ощущал его кисловатый приятный вкус. Иногда я даже не успевал донести свой паек до дома – проглатывал по дороге.

Порой пытался рисовать или читать. Дни шли за днями, жизнь казалась нереальной и призрачной, но было у меня тогда чувство, которое никогда потом больше не повторялось – чувство абсолютной, ничем не ограниченной свободы. Я никому не был нужен, но и меня никто ни о чем не просил, и я ни перед кем ни в чем не отчитывался. Наступило лето, я стал чаще вылезать из своей берлоги. Иногда ездил на дачу в Быково, которую много лет назад купили мои родители. Ездил всегда, конечно, зайцем. Контролеры делали вид, что ничего не замечают, чтобы не связываться с жалким заморышем, но некоторые ссаживали на ближайшей остановке. Тогда я садился на лавочку и ждал следующего поезда.

Дача слишком громкое название для дощатой, перегороженной надвое лачуги. Зато рядом находился огромный зеленый луг и лес, где на полянке можно было лежать часами и греться на солнышке.

Где-то я услышал, что скоро должна открыться Третьяковка, и с нетерпением дожидался этого дня. До войны учитель рисования всем классом водил нас туда показывать наиболее известные картины. Я любил "Медведей" Шишкина, нравились мне пейзажи Левитана и богатыри Васнецова. Но особенно поразил меня Врубель с его девами, принцессами и демонами. Объяснения учителя почему-то раздражали, и теперь я предвкушал, как буду стоять перед любимыми картинами один и подолгу их разглядывать.

Сам я снова стал много рисовать, в основном, цветными карандашами, но все время мечтал о масляных красках. Удалось где-то достать малярные, и я рисовал ими. Однажды, шатаясь по рынку, вдруг наткнулся на дядьку, который продавал целый набор настоящих масляных красок! Не раздумывая, я тут же поменял их на только что отоваренный хлебный паек.

Осенью в каком-то объявлении я прочел, что в Доме пионеров открывается живописная студия. Пошел туда. Узнал, что студией руководит Евгений Леонидович Кропивницкий и что записалось туда всего три ученика. Столько же записалось и в поэтическую секцию, которой руководил тоже Евгений Леонидович. Мог ли я тогда себе представить, что этот день станет поворотным в моей жизни? Это был человек широко образованный, любивший литературу и живопись, сам поэт и художник. Он стал моим первым настоящим учителем и повлиял на весь дальнейший мой жизненный путь. Он очень хорошо ко мне относился, часто приглашал к себе в Долгопрудную под Москвой, где в бараке в маленькой комнатке жили его жена Ольга Ананьевна и дочь Валя. Сын Лев в это время находился на фронте. Ольга Ананьевна поразила какой-то необыкновенной, в полном смысле слова ангельской добротой. Валентина, которая была на четыре года старше меня – ей в то время уже исполнилось восемнадцать – не замечала тощего невзрачного парнишку, которого отец привозил в дом. Евгений Леонидович показывал коллекцию репродукций западных художников, которой очень гордился, до этого я ничего подобного не видел, и нередко читал мне свои стихи. Вместе со мной у него дома часто бывал его ученик из поэтической секции – Генрих Сапгир, ставший позже известным поэтом. Мы с Генрихом подружились.

У Кропивницкого была особая манера преподавания: он ставил перед нами натюрморт – яблоко на скатерти, кувшин или чашку – говорил: "Рисуйте!" Потом поправлял, щадя по возможности, наши шедевры и начинал увлеченно рассказывать об истории искусства, о французской живописи, об импрессионистах. Одновременно показывал репродукции картин. В ту пору властям было не до живописи, поэтому на импровизации Евгения Леонидовича никто не обращал никакого внимания.

По правде сказать, я не всегда хорошо понимал суть того, о чем рассказывал учитель. Но стоило Евгению Леонидовичу развернуть перед

нами репродукции, как я быстро схватывал объяснения и прочно запоминал. Некоторые примеры врезались в память на всю жизнь. Однажды мы рисовали натюрморт с апельсином. Вдруг учитель взял синюю краску и наложил на апельсин густую тень. Апельсин перестал казаться апельсином, превратился во что-то другое, зато словно ожил и как-то по-новому осветился. Мы ничего не могли понять, а Евгений Леонидович, посмеиваясь, начал объяснять особенности цветовых контрастов.

Чем дальше, тем острее я чувствовал, что не могу обходиться без живописи, для меня не было ничего прекраснее судьбы художника. Однако, рассматривая картины официальных советских художников, я совершенно неосознанно ощущал, что никогда так писать не смогу. И вовсе не потому, что они мне не нравились – я восхищался мастерством, порою откровенно завидовал – но в целом они не трогали, оставляли равнодушным. Чего-то главного для меня в них недоставало. Я чего-то пытался искать. Чего? Сам не понимал. В студии усердно рисовал натюрморты, дома упрямо копировал мастеров, однако не полностью, а с собственными вариациями. Так, скопировав левитановскую "Золотую осень", я пририсовал к картине цветы и лошадей, и получилась не знакомая каждому картина, а нечто иное. Подобные вещи я никому не показывал, знал, что Евгений Леонидович будет против, но, чувствуя его правоту, продолжал упрямо делать по-своему.

Я понимал, как много значат для меня занятия в студии, однако больше не мог вынести голодного существования, и когда знакомый капельмейстер предложил взять меня с собой в армию в качестве "сына полка", я согласился. Тогда подобные "сыновья" были в моде. Узнав, что играю на скрипке, меня определили в полковой оркестр. Вскоре полк перебросили ближе к передовым позициям, под Тулу. Однако мне, видно, не судьба была играть на скрипке. Вскоре случился пожар, и склад с музыкальными инструментами, и моя скрипка тоже, сгорели. Нас разместили в избах местных колхозников, и через несколько дней я тяжко затосковал. Начиналась старая история – ни с кем из молодых ребят нашего взвода я подружиться не смог. Как всегда, оказывался "чужаком", отпугивал очками и общим нескладным видом. К тому же за месяцы одиночества я привык к независимости и свободе, а тут то и дело надо было подчиняться. Короче, я стал просить знакомого капельмейстера, чтобы меня отпустили, и, получив разрешение, сразу уехал в Москву. Так бесславно закончилась моя военная карьера.

В Москве удалось устроиться подсобным рабочим в гараже. Там бы, казалось, я мог получить профессию, научиться водить машину, прилично зарабатывать. Но ничего этого не произошло. Сам я по застенчивости, как всегда, ни во что не вмешивался и ни о чем не просил, а шоферам было выгодно держать меня в качестве мальчика на побегушках – протирать в кабинах стекла, подметать пол. Так ничему и не научившись, я из гаража ушел. Война продолжалась, но половина оккупированных немцами районов была уже освобождена. Вскоре осво-

бодили и Латвию. А через некоторое время я получил от маминой сестры тети Терезы письмо, в котором она приглашала меня к себе под Ригу, где она жила.

Я СТАНОВЛЮСЬ ЛАТЫШОМ

Предожение тети Терезы разожгло мое воображение. Тут же вспомнилось, как однажды, еще до войны, мать получила в подарок от тети Терезы огромный пушистый плед. Он был удивительно теплым и удобным и воплощал для меня богатство далекого капиталистического мира. Представить себе, что мир этот уже давно не богатый и некапиталистический, я не мог. Воображение создавало передо мной картину: я приезжаю в старинный особняк, в котором много еды. С утра и до ночи я ем и с утра и до ночи рисую! Я сразу же предложил Сапгиру отправиться со мной в Латвию и принять управление поместьем. Сапгир отказался, и я решил отправиться один.

Сборы заняли немного времени, так как собирать было нечего, а отсутствие паспорта показалось мне нестрашным. Я уже давно жил безо всяких документов. Пока был несовершеннолетним, документы были не очень нужны, а когда в 1944 году исполнилось шестнадцать лет, оформлять в милиции паспорт не пошел. Почему? Да просто так – из-за робости, нерешительности, страха перед неизбежными формальностями. Да ну их! Я и так проживу. Глупость, конечно, однако таким я был и ничего с собой поделать не мог.

Для покупки билета требовалось специальное разрешение, но мне оно было ни к чему – покупать билет я не собирался. Поезда в то время ходили редко, народу ехала масса, и я решил поступить, как поступали тогда все мешочники: сесть не в Москве, а на одной из пригородных станций. Там и пассажиров меньше, и контроль не так проверяет. Поезд прождали весь день до вечера. Когда он, наконец, подошел, началось что-то невероятное. На вагоны шли приступом. Люди гроздьями висели на поручнях, лезли на крышу, облепили подножки. Милиционеры их сгоняли, но через секунду все начиналось сначала. Я ухитрился пристроиться на буферах между вагонами, меня норовили спихнуть. Наконец, поезд тронулся. Некоторое время я еще кое-как держался, но вскоре почувствовал, что долго так не выдержу. Мороз стоял страшный. На мне, кроме старенького демисезонного материнского пальтишки, ничего не было, руки окоченели и пальцы не разжимались. Я чувствовал, что еще немного, и я свалюсь в черный пролет между колесами. Какая-то женщина сорвалась с подножки и полетела под откос.

Я что было сил забарабанил в дверь вагона. Выглянул проводник и, увидев мою скрюченную фигуру, сжалился. "Погрейся, – сказал он. – Потом прогоню". Через некоторое время группа солдат пошла проверять документы. "Паспорт? – спросили у меня. – Показывай паспорт, парень!" Меня начала бить крупная дрожь, я мотал головой и, как заведенный, повторял: "Ни денег, ни документов у меня нет, делайте со

мной, что хотите, но с поезда я не сойду". Солдаты переглянулись. Один из них махнул рукой и выругался: "Да ну его, гниль такая!" Они ушли.

Я ехал все дальше и дальше, в неведомую Латвию, в свое сказочное поместье. Уже двое суток я почти ничего не ел и почти не спал. И вот, наконец, рижский вокзал. Но ведь мне-то нужна была не Рига. Мне еще от Риги надо ехать километров сорок в какой-то из пригородов. Как ехать, мне рассказали на вокзале. Я снова очутился в поезде и снова без билета. Надо сказать, что моя авантюра по тем временам была небезопасна. Железные дороги Прибалтики буквально прочесывались отрядами Советской армии в поисках "бандитов", латышских партизан, которые скрывались в лесах. Поезда контролировались особенно строго. Проверка началась на первой же станции. Меня тут же схватили и отвели в служебный вагон. Я сказал, что еду из Москвы к тетке под Ригу, а документы потерял по дороге. И начался допрос. Командир обязательно хотел проверить, не вру ли я насчет Москвы, и дотошно расспрашивал о названиях московских улиц, о станциях метро, о памятниках, которые я знаю, и, наконец, пытался подловить меня на незнании номера собственной школы. Кончилось тем, что меня высадили на одной из станций, а нужную мне мы давно проехали. Снова ожидание на промерзшем полустанке.

На другой день я не пришел, а почти приполз к тете Терезе. До ее хутора пришлось двадцать четыре километра добираться пешком, а ночь я провел в стогу, в котором кое-как вырыл дыру, потому что ледяная солома слежалась, а закоченевшие пальцы меня совершенно не слушались. Увидев тощего, как жердь, посиневшего от мороза племянника, тетя Тереза захлопотала. Она заставила меня помыться в большой деревянной бадье, накормила и уложила спать. Худощавая, высокая, уже старая, она по характеру очень напоминала мать, только в отличие от нее была лютеранкой и очень набожной женщиной. Местные крестьяне ее уважали, просили, чтобы она давала уроки их детям, иногда приносили шитье.

Шикарное поместье оказалось бревенчатым, разделенным надвое домом, в одной половине которого жила тетя Тереза, а в другой – семья бывшего арендатора фермы. Раньше, до советской власти, тетка получала половину урожая с принадлежавшей им земли. Теперь полноправным хозяином стал арендатор, а тетя Тереза радовалась, что он не гонит ее на улицу, как поступали с бывшими хозяевами многие из батраков и арендаторов. Латышские хутора были чистыми – свинарник и хлев находились от дома на порядочном расстоянии, не пахло навозом, не таскалась в комнаты грязь. Невольно вспомнились избы тульских колхозников, в которых разместили нашу часть, где я состоял музыкантом.

Латыши жили сравнительно неплохо. В деревне у каждого была картошка, сало и мясо. В Риге многих горожан подкармливали деревенские родственники. В то время еще были частные магазинчики, вроде тех, которые я потом увидел в Париже.

Тетя Тереза познакомила меня с крестьянами, которые охотно стали давать мне работу. Уж чего-чего, а работать латыши умеют, да и другого заставить могут. Я чистил хлевы, убирал свинарники, пилил и колол дрова. Я не привык к тяжелому крестьянскому труду и после рабочего дня еле добредал до постели. Однако мало-помалу втянулся, мышцы мои окрепли.

Как ни уставал я от работы, однако, о живописи не думать не мог. У тети на чердаке завалялась старая коробка с акварельными красками. Я нарисовал несколько пейзажей и натюрмортов. Сделал два или три портрета. Все это я собирался показать в Рижской академии художеств. Тетка не очень одобряла эту затею, но я так красноречиво ее убеждал, что она согласилась не только отвезти меня в Ригу, но и упросить знакомых, чтобы они выделили мне уголок в своей комнате.

Мне самому не очень нравились мои акварели, но других у меня не было. Профессора же отнеслись ко мне благосклонно и попросили только скопировать античную голову и сделать несколько набросков. "Вы приняты, — объявили мне, — и зачислены на первый курс". Предстояла сдача документов. Когда в канцелярии у меня попросили паспорт, я соврал, что он находится в милиции на прописке. Секретарша согласилась подождать. В 1944 году Рижская академия художеств была относительно свободной, почти все предметы считались факультативными, а большинство профессоров находилось под влиянием французских импрессионистов.

Я начал учиться. Друзья тети Терезы вскоре куда-то уехали, и я очутился на улице. Пришлось ночевать в Академии, куда я приходил поздно вечером и, цепляясь за каменные узоры фасада, пробирался в мастерскую на второй этаж. Там я брал ткани, служащие фоном для натурщиков, и ложился на узкую, стоявшую в нише кушетку. Просыпался рано утром и к приходу сторожа уже сидел на своем рабочем месте и рисовал. Сторож надивиться не мог такому трудолюбию студента.

Но хуже бездомности был голод. Я сидел без копейки. Тетя изредка привозила из деревни мешок картошки и немного сала. Я старался растянуть их, насколько мог, но рано или поздно еда кончалась. Не давали мне и продуктовых карточек — все из-за того же проклятого паспорта. И начались чуть не ежедневные вызовы в милицию: предоставьте паспорт или уезжайте в Москву. Я просил, умолял, доказывал, что если они запросят Москву, то все выяснится само собой. Однако в милиции, как видно, никто не хотел никого запрашивать, а были заинтересованы только в том, чтобы я как можно скорее выкатывался из Риги.

Тогда тетя Тереза решила просить помощи у Кирхенштейна. Она вспомнила, как он был влюблен в мою маму, с какой надеждой ждал от нее положительного ответа на свое предложение. Говорят, он так и не женился с тех пор. Теперь в Латвии он являлся большой шишкой: Председатель Верховного совета Латвийской СССР. Она позвонила в при-

емную и сумела добиться свидания. Там в зале ожидания сидели вполне прилично одетые люди, и я в своем изношенном чуть не до дыр материнском пальто выглядел неважно.

Войдя в огромный кабинет Кирхенштейна, я сразу узнал высокомерного маленького профессора, который приносил нам лекарства и витамины. Он почти не изменился – тот же недобрый взгляд прищуренных глаз, то же сухое, с желтоватой кожей лицо. Всем своим обликом он напоминал Ленина, портрет которого висел над его головой. Кирхенштейн принял нас очень официально. Почти не разжимая губ, он сказал, что хоть я того и не стою, но в память моей несчастной матери он постарается мне помочь. И тут же на клочке бумаги написал несколько строк. На другой же день в милиции, увидев эту бумажку, мне выдали паспорт. Однако до того, как дать бумажку, Кирхенштейн объявил: ”Здесь, в Латвии, нам евреи не нужны. Отец твой был евреем, но мать – латышкой. Поэтому ты должен взять ее национальность. Если откажешься, можешь возвращаться в Москву”. Мне было абсолютно все равно, какую брать национальность, но когда Кирхенштейн потребовал, чтобы я сменил также фамилию отца на фамилию матери, я не согласился. Почему? До сих пор не могу понять. Ведь своим упрямством я мог испортить все дело. Тетя испуганно глядела на меня, крепко прижав к груди скрещенные руки, Кирхенштейн брезгливо кривился. Потом дернул плечом и протянул мне бумажку. С тех пор в моем паспорте рядом с еврейской фамилией Рабин в графе ”национальность” было помечено – ”латыш”.

Я молчал, опустив голову. Кирхенштейн неожиданно смягчился. ”Ладно, – сказал он, – тебе, как я вижу, приходится нелегко. Я, во всяком случае, готов тебе помочь. Когда тебе понадобится, приходи”. Мы ушли. Месяца через два я снова к нему пришел – на этот раз по тетиной просьбе. Она просила заступиться за семью ее друзей, которым грозила высылка в Сибирь. Высылали очень многих. В то время в Латвии население чем могло помогало партизанам. Власти боролись и с партизанами, и с сочувствующими. По Риге ходили упорные слухи, что половину латышского населения сошлют в Сибирь, а на место латышей пришлют русских. Люди боялись, однако, как всегда, они на что-то надеялись. Много было слухов, что Америка вот-вот объявит России войну и освободит Латвию. Рассказывали, что бывший президент Латвии Ульманис не был казнен, но как отличный организатор по приказу Сталина назначен председателем отстающего колхоза в Казахстане. Там он до времени затаился, но настанет срок, и тогда... Тетя Тереза всем этим историям верила и мне их рассказывала.

Снова увидев меня, Кирхенштейн даже улыбнулся. Но узнав, по какому делу я пришел, рассердился: ”Довольно! – закричал он. – Сколько это может продолжаться! Ты просишь за преступников, место которых в тюрьме” Многие, по-видимому, обращались к нему с такими просьбами. Немного успокоившись, он объяснил, что советская власть боролась и всегда будет бороться с антисоветскими элементами, кото-

рые подрывают основы рабоче-крестьянского государства. Оглядев меня с ног до головы, он сказал, что хлам, который я ношу, давно пора выкинуть на помойку. "Надо одеваться поприличнее. Только денег я тебе не дам. Растратишь на пустяки. Лучше приезжай ко мне на дачу, я тебе кое-что подберу".

Через несколько дней я отправился по указанному адресу. Белокурая высокая девушка в переднике открыла дверь и, расспросив, кто я такой, попросила подождать. Вскоре она появилась, неся в руках аккуратно сложенный коричневый костюм и белую рубашку. Костюм был не новый, но из отличной ткани, и я носил его, не снимая, несколько лет. Больше я никогда не пытался встретиться с Кирхенштейном.

БОРИС СУНГУРОВ

Однажды в Академии на уроке рисунка я увидел коренастого молодого человека с изъеденным оспой лицом и рыжеватыми волосами. Цветом волос и голубыми холодными глазами он напоминал латыша, но оказался коренным сибиряком. Он был среднего роста, но от всей его фигуры исходило ощущение силы. Он подошел ко мне четким военным шагом и представился: "Будем знакомы. Борис Сунгуров". Мы подружились.

Борису исполнилось двадцать два года, но казался он гораздо старше своих лет. Он ушел на фронт в самом начале войны, но вскоре был тяжело ранен, полгода провалялся в госпиталях и, демобилизовавшись, вернулся в родной Новосибирск. Потом переехал в Ригу. Документы бывшего офицера-фронтовика всюду служили ему безотказным пропуском. Через некоторое время он получил в Риге двухкомнатную квартиру и предложил мне поселиться у него. Я с радостью согласился. Новый друг относился ко мне с нежностью и с какой-то снисходительной жалостью. В его глазах я был неопытный, наивный, не умеющий устраиваться в жизни мальчишка. Меня восхищали его находчивость, железная хватка и, когда у него появлялись деньги, – непомерная щедрость.

Однажды Борис рассказал свою историю. Родился он в Новосибирске, в рабочей сибирской семье. Отец работал электромехаником и хорошо зарабатывал, семья была большая и дружная. Но вернувшись с фронта, Борис не захотел жить на обычную зарплату среднего служащего. Он сколотил воровскую шайку и принялся орудовать в самом Новосибирске и в окрестностях. Все шло хорошо до тех пор, пока шайка не ограбила авиационный завод. Было украдено большое количество парашютного шелка, авиационных часов и что-то еще. Вся милиция была поставлена на ноги. Всюду только и было разговоров, что о дерзком ограблении завода. Однажды, когда они сбывали на рынке рулоны шелка, их арестовали. В военное время могли получить и вышку, в лучшем случае – двадцать пять лет. Но друзья Сунгурова сумели всучить какому-то чину громадную взятку, и он скрылся. Надо было срочно бежать из

Новосибирска. Куда? Сунгуров выбрал Ригу. Во-первых, это далеко от его мест, и, во-вторых, Рига расположена недалеко от границы. Дело в том, что Сунгуров рано или поздно решил бежать из Советского Союза. Он был убежден, что создан для частной инициативы и сможет там разбогатеть.

Как-то Борис признался, что терпеть не может евреев и что способен отличить еврея даже по запаху. "И меня?" – не удержавшись, спросил я. Он пожал плечами: "Конечно. Только ты другое дело. А вообще-то жаль, что у Гитлера не хватило времени уничтожить их всех до единого". "А как же великие люди? Гении? Как, например, быть с Левитаном (Сунгуров очень любил картины Левитана)?".. – продолжал расспрашивать я. Сунгуров равнодушно пожал плечами: "Всех нужно уничтожить – и дело с концом. Так вернее".

В Академии уже преподавали марксизм-ленинизм. Я и Сунгуров часто лезли в спор. Не на лекции, правда, а в коридоре во время перерыва. Ни я, ни даже осторожный Сунгуров не думали о том, к чему наша откровенность могла привести. Однажды зашла речь о религии. Я доказывал, что в нашей стране на самом деле не существует свободы религиозных убеждений, так как верующие преследуются. В конце занятий наш однокурсник Володя Карякин, коммунист, воевавший с немцами в партизанском отряде, отвел меня в сторонку и резко сказал: "Чтобы подобную брехню слышал последний раз! Ты – щенок! Молокосос! Сам не знаешь, чего мелешь. Я тебя, дурака, просто пожалел. Другой бы давно уже показал, где раки зимуют!"

С Сунгуровым мы жили душа в душу. После занятий, которые кончались в два часа, ходили на базар. Там на барахолке Борис покупал сломанные часы, потом их чинил и за солидную сумму перепродавал. Я делал вид, что торгуюсь, восхищался качеством товара, отходил, потом подходил снова. Меня эта игра забавляла. Вместе мы ходили в парк и в кино, иногда ездили на пляж. Транспорт работал тогда плохо, так что поездки превращались в настоящие путешествия. Сначала мы ехали поездом, потом долго шли пешком. Подбирали выброшенную на берег рыбу, жарили ее на костре и ели. Иногда ходили в православную церковь послушать службу.

Главной нашей мечтой было бежать за границу. Сунгуров относился к идее побега чрезвычайно серьезно. Он ходил в порт, знакомился с матросами, пытался найти верного человека, который бы за приличную сумму согласился спрятать нас в трюме парохода и переправить за границу.

В мае 1945 года Рига, как и вся страна, праздновала победу над Германией. В этот день мы с Борисом бродили по улицам среди возбужденных людей, однако, сами не чувствовали себя особенно счастливыми. Война кончилась, это, конечно, замечательно. Ну, а в нашей жизни что-нибудь особенно переменилось? Разрешили, правда, свободное передвижение по стране. Вскоре приехал меня навестить Генрих Сапгир. Мы проговорили целую ночь. К утру я почувствовал, что меня неудержимо тянет обратно в Москву. И, бросив учебу, я уехал.

В Москве мне очень понравилось. Старый мой учитель Кропивницкий был окружен целой толпой не знакомых мне юношей и девушек – поэтов и художников. Собирались в его комнатенке на Долгопрудной, говорили об искусстве и литературе, музицировали, читали стихи Гумилева, Ахматовой, Пастернака, читали и собственные стихи. Постоянным членом кружка была двадцатилетняя поэтесса Людмила Ермакова, и я без памяти в нее влюбился.

Московскую комнату я потерял, потому что, вернувшись с фронта, Лида вышла замуж и поселилась там с мужем. Я ночевал у знакомых, спал кое-как, иногда на полу. Но это не остудило моего энтузиазма. Латвия с ее размеренной жизнью, относительным комфортом и продажей часов казалась далеким, почти забытым сном.

Со своим рижским свидетельством я пришел в Суриковский институт, где тогдашний директор Сергей Герасимов принял меня очень тепло. Мои картины ему понравились, и он даже заступился за меня перед деканом, который считал, что я гожусь лишь для первого курса. "Рисунку можно научиться, – сказал тогда Герасимов, – а живописи никогда". И приказал, чтобы меня зачислили на второй курс.

Принятый в институт, я бы мог жить в студенческом общежитии, однако там не оказалось свободных мест. Прописать меня, правда, прописали, но жить было негде. Знакомые, у которых было двое детей, разрешили спать на раскладушке. Московские тетки и хотели бы мне помочь, но в их десятиметровке было слишком темно. Я мучался от постоянного сознания, что стесняю людей, но что оставалось делать?

Учиться в институте мне было трудно. После относительной свободы в Рижской Академии художеств атмосфера казенного соцреализма, царящая в Суриковском институте, казалась совершенно невыносимой.

Нельзя сказать, что сам Герасимов был особенно ярым приверженцем соцреализма. В глубине души он любил и понимал живопись. Но ведь директорами Суриковского института не становятся люди, не умеющие пойти на компромисс. Вот и получалось, что в лирических, теплых пейзажах он разрешал себе некоторую свободу, зато уж в больших полотнах с социальной тематикой ни на йоту не отступал от генеральной линии.

А мне становилось совсем невмоготу. От занятий тошнило, с любовью дела тоже обстояли совсем плохо. Я не умел ухаживать, был неловок, молчалив: часами простаивал у Людмилы под окном, вызывая смех и пересуды соседок. В конце концов Людмила разозлилась и велела, чтобы я оставил ее в покое. Через много лет я случайно с ней встретился. Она вышла замуж и стала солидной матерью семейства. Защитив диссертацию, моя бывшая любовь заняла ответственный пост в Ленинской библиотеке. Изменилась ли она внешне? Да, вроде, не особенно, однако от той молоденькой прелестной девушки, которую я когда-то любил, не осталось и следа.

Я заскучал и, не сделав отметки в московской милиции, снова вернулся в Ригу. Вспомнив, что там надо представлять в местной мили-

ции паспорт, ничего лучше не придумал, как нарисовать в паспорте фальшивую печать о выписке из Москвы. В рижской милиции никто не стал всматриваться в мой документ, и все сошло благополучно. Придя к Сунгурову, я застал все семейство в сборе – отца, мать, брата и сестру, которые приехали из Новосибирска. Они приняли меня очень сердечно и поселили у себя. Скоро, несмотря на несвоевременный – в середине учебного года – приезд, меня снова приняли в Академию и даже предоставили место в общежитии.

Семья Сунгуровых жила напряженной деловой жизнью, готовясь к важным переменам в своей судьбе. Теперь они уже всей семьей мечтали уехать на Запад. Отец открыл часовую мастерскую, брат работал часовщиком. Что касается Бориса, то пока меня не было, он завязал надежные контакты с рижскими уголовниками и принялся за дела, которыми занимался в Новосибирске. Только ограблению предпочел карманную кражу. Профессионально ловкого и к тому же всегда без упречно одетого Бориса трудно было заподозрить в воровстве, однако, тем не менее, его дважды захватывали на месте преступления. И всякий раз он, как ни в чем не бывало, в тот же вечер возвращался домой. Мне Борис объяснил, что держит при себе постоянно на всякий случай тысячу рублей. Трудность заключалась лишь в том, чтобы уговорить милиционера, снимавшего допрос, дело замять и не передавать его в суд. "Против таких денег, – усмехался Борис, – нелегко устоять. Ну, а если протокол все-таки передадут, дело все равно можно замять, только стоить будет гораздо дороже".

Я понял, что живопись служила Сунгурову ширмой для прикрытия деятельности совсем другого рода. Он все реже приходил на занятия, вскоре мы перестали видеться совсем, а еще через некоторое время я узнал, что Сунгуровы уехали за границу, в Восточный Берлин. Может Борис сумел убедить власти, что отец с его высокой квалификацией сумеет пригодиться в Берлине, а может, что скорее всего, просто подкупили кого следует для получения заграничных виз. Они прибыли в Восточный Берлин. Берлинской стены тогда еще не существовало, так что переход в другую зону не представлял особых трудностей.

Перед самым отъездом Борис написал мне в Москву (я уже опять находился там) последнее письмо, в котором, помня о нашей бывшей мечте, предлагал прислать мне приглашение. В это время я уже не собирался никуда уезжать и мягко, стараясь Бориса не обидеть, на это намекнул. С тех пор никаких вестей от него я не получал.

Проезжая в 1978 году через Западный Берлин в Париж, я вспомнил своего давнишнего рижского друга. Занялся ли он бизнесом или опять, по старой привычке воровством? Не знаю. Но в любом случае желаю ему счастья.

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ДВОРОВЫЙ ПЕС

Я оставался в Риге до лета 1947 года. Нас не заставляли рисовать обязательные тематические композиции, требовали только умения делать быстрые зарисовки с натуры – будь то пейзажи или сцены из повседневной жизни. Некоторые студенты позволяли себе даже упражняться в кубистической либо в импрессионистской манере. В академии в библиотеке хранились великолепные репродукции картин, которые в Москве давно уже считались крамольными.

Как и остальные, я немного подрабатывал – рисовал афиши, оформлял витрины, делал лозунги и транспаранты. С точки зрения материальной жизнь была вполне благополучной. Но в Риге я чувствовал себя одиноким, потерянным и никому не нужным. Кроме Сунгурова, других друзей в Академии я не нашел, и жизнь в Риге опять показалась невыносимой. Появилось ощущение, что теперь мне будет плохо везде, где бы я ни жил. Вскоре я опять вернулся в Москву, но там сразу понял, что подделанный документ может меня погубить, разорвал свой паспорт и остался вообще безо всяких документов. Без паспорта я не мог получить продуктовых карточек, привезенные из Риги деньги очень скоро кончились, и я остался без куска хлеба и без крыши над головой. Осень сорок седьмого года выдалась очень холодной. Я ночевал в подъездах, на вокзалах, под лестницами, изредка у теток. Днем садился в пригородный поезд и ехал до последней станции. Потом возвращался обратно. В то время ездили паровозы, а вагоны отапливались стоявшей посередине печкой.

Когда мне исполнилось восемнадцать лет, я пошел в военкомат. Я был худ, грязен и ходил в заношенном костюме Кирхенштейна. Сидевший за столом офицер посмотрел на меня с отвращением: "Убирайся отсюда! Без документов в армию не берут!" Я ходил из одного отделения милиции в другое, прося, чтобы мне выдали не документы даже, а лишь свидетельство о потере документов. Ответ был везде один: "Ты приехал из Латвии, вот и отправляйся в свою Латвию".

Постепенно я превратился в настоящего бродягу. Мне было стыдно перед друзьями, я не хотел никого видеть, даже Сапгира и Кропивницкого. Ведь если я перестал заниматься живописью, то что мне делать в кружке среди поэтов и художников? Кому я там нужен? Я оказался в полнейшем тупике. Единственным выходом казалась смерть.

Проще всего было бы броситься под поезд, но мне становилось жутко при одной мысли о том, что мое изувеченное, залитое кровью тело будет валяться на земле перед толпой любопытных зевак. Легче умереть от угара. Я поехал на дачу в Быково, тщательно заткнул все щели в двери и окнах, забил печку обломками изрубленного стола и, не дождавшись, пока они догорят, закрыл заслонку. Комната наполнилась угарным газом. Я очнулся утром с ощущением тошноты и головной боли. Некоторое время лежал неподвижно, потом выполз и, жадно глотая воздух, шатаясь, пошел на станцию.

Этот способ явно не годился, потому что сколоченная из тонких досок дача пропускала воздух, как сито. Проще всего было бы повеситься. Однако дачный потолок был очень низок. И тогда я подумал о яде. Где-то я читал, что небольшая доза медного купороса для человека смертельна. Медный купорос продавался в каждом магазине и стоил недорого. Купив мешочек, я граммов сто отсыпал в стакан и тщательно размешал. Красивые кристаллики окрасили воду в голубой цвет.

Не успел я сделать несколько глотков, как меня охватил приступ рвоты. Меня рвало не меньше часа, желудок буквально выворачивало наизнанку, горло горело огнем. Еще никогда я не чувствовал себя таким больным и разбитым. Но я выжил и на этот раз. А если так, рещил я, то, значит, смерть не хотела меня принимать. Волей-неволей приходилось искать другой выход.

Ночуя по вокзалам, я встречал немало людей, у которых не было никаких документов. Некоторые годами скрывались в лесах и глухих деревнях. Их, в конце концов, ловили и сажали в тюрьму, зато, освободившись, они получали свидетельство, по которому со временем давали и паспорт. К тому же тюрьма давала хоть ничтожное, но питание и крышу над головой. Необходимо только придумать преступление, за которое намотают не очень большой срок.

Я вошел в небольшой ресторанчик у Никитских ворот и, с трудом сохраняя невозмутимый вид, заказал борщ, мясо с картошкой и триста граммов портвейна. Всего на шестьдесят рублей старыми деньгами. Съев и выпив, я с бьющимся сердцем подозвал официантку и, признавшись, что у меня нечем платить, попросил, чтобы позвали милиционера. Подошел директор и, если бы я не настаивал, скорее всего он просто вышвырнул бы меня вон из ресторана. Но я упирался, и меня привели в отделение.

Молодой веселый сержант, выяснив, какую еду я заказал, расхохотался и сказал, что я не такой уж дурак, только напрасно сплоховал в выборе спиртного – надо было взять коньяк. Узнав о моем желании сесть в тюрьму, он объявил, что суд не станет тратить драгоценное время на таких шаромыжников, как я. Тогда я сказал, что разобью витрину и меня все равно посадят. Сержант нахмурился: "Хватит валять ваньку, – сказал он. – Если устроишь какую-нибудь пакость на моем участке, сотру в порошок!" Он дал мне тридцать копеек на трамвай и велел убираться вон.

Когда в 1974 году в наказание за устройство первой выставки нонконформистов на открытом воздухе милиция обвинила меня в хулиганстве, и я провел ночь в КПЗ, то вспомнил и то давнее мое приключение, и рассказ О'Генри о бродяге, который напрасно добивался, чтобы его арестовали. Он хотел перезимовать в тюрьме и немного подкормиться. Арестовали же его именно тогда, когда бродяга решил работать и не имел никакого желания садиться за решетку.

Вышвырнутый отовсюду, я решился написать письмо в Президиум Верховного Совета, хотя был почти уверен, что из этого ничего не по-

лучится. Я сочинил нелепое послание на десяти страницах, где описывал всю свою жизнь, включая занятия на скрипке и любовь к живописи. Я бросил это письмо в ящик, как бросают бутылку в море. И тем не менее однажды на адрес теток пришла открытка из Президиума Верховного Совета. Меня оповещали, что мое письмо передано по инстанциям и что после рассмотрения меня вызовут. Я получал еще много таких открыток, подтверждающих, что дело идет своим чередом. Чуть не целый год они заменяли мне паспорт.

В начале сорок восьмого года благодаря такой открытке меня приняли разнорабочим на стройку. Продуктовых карточек, правда, не выдали, зато предоставили койку в рабочем общежитии. Целую зиму я работал грузчиком. К весне сорок восьмого карточную систему отменили, я решил, что с голоду не помру, плюнул на все и, бросив работу, уехал на дачу в Быково, где мог, наконец, целый день рисовать. Однажды, возвращаясь домой, я увидел приколотую к дверям записку – приглашение в гости от двух молоденьких девушек с соседней дачи Они приглашали зайти, писали, что у них я смогу пообедать и даже переночевать. Девушки, заметив, очевидно, в какой нищете я живу, захотели мне помочь. Записка очень меня взволновала, я даже размечтался о каком-то романе, однако быстро очнулся от грез: нет, такой грязный, оборванный и тощий я в женихи не гожусь.

Надо сказать, что несмотря на всю свою оборванность, я вполне годился в женихи. После войны мужчин стало мало, и многие москвички искали мужей в обмен на московскую прописку. Однажды Сапгир предложил познакомить меня с молодой женщиной, которая хотела выйти замуж и жила в центре Москвы, на площади Маяковского. У нее, правда, был ребенок, но это не имело никакого значения – главное, прописка. Сапгир от меня не отставал: "Ведь ты интересный парень и вполне можешь устроить свою судьбу. Пропишешься, найдешь работу, а потом все пойдет как по маслу". Я решил рискнуть. Ради первого свидания помылся, причесался и отправился на площадь Маяковского. Квартира действительно оказалась хорошей, хозяйка тоже мне понравилась. Миловидная, любезная, бойкая женщина. Я, как видно, тоже ей приглянулся, потому что она попросила, чтобы мы встретились вновь. "Только приходите один", – кокетливо добавила она. Через неделю Сапгир передал мне письмо, в котором женщина писала, что я ей понравился и что она готова выйти за меня замуж. Однако добавляла, что если в физическом смысле я ее не удовлетворю, то она оставляет за собой право иметь любовника.

На другое свидание я не пошел. Может, меня оскорбило то, что ставятся под сомнение мои мужские достоинства, а, может, вообще не пришлась по вкусу вся эта затея.

Единственная женщина, которую я попросил выйти за меня замуж, была Валентина Кропивницкая. Однажды летом 1948 года неожиданно для самого себя я вдруг ей сказал: "А не пожениться ли нам?" Она

удивленно на меня посмотрела и ответила, что у нее уже есть жених, но что мы можем остаться хорошими друзьями. Помнится, этот отказ не очень меня огорчил, так как я еще сам толком не знал, чего хочу. Однако инстинктивно я чувствовал, что это именно та женщина, которую я способен любить и с которой смогу прожить всю жизнь.

В 1949 году Валя вышла замуж за молодого геолога, друга детства, и они поселились в маленькой комнатушке Кропивницких. Совместная жизнь молодых супругов вскоре стала невыносимой: сказывалось несходство характеров, мешала жуткая теснота, к тому же Валя ждала ребенка. Муж принял предложение участвовать в экспедиции и уехал. Из роддома Валю забрали Евгений Леонидович и я. Прошло несколько месяцев, и Валя поняла, что любит меня. Она написала мужу письмо, в котором объясняла сложившуюся ситуацию и просила дать ей развод.

Осенью сорок восьмого года холода прогнали меня с дачи. Надо было снова устраиваться на работу, и я пристроился грузчиком на одном из московских инструментальных заводов. Работа была тяжелая: грузить из вагонов металлические чушки по пятнадцать-двадцать килограммов каждая. Выгрузив треть вагона, я уже не мог ни согнуться, ни разогнуться, но найти другую работу не сумел. К тому же эта работа неплохо оплачивалась: от восьмисот до тысячи в месяц старыми деньгами. Я немного отъелся и даже стал прибавлять в весе. Кое-как протянул зиму, а весной снова бросил все и уехал в Быково. Однако теперь я уже не мог жить далеко от Валентины и поэтому свою дачу в Быково сдал, а сам снял небольшую комнатку в деревне Виноградово недалеко от Долгопрудной. Там и жил с тетками до осени сорок девятого года, а осенью продал свою дачу за немыслимые по моим понятиям деньги — двадцать тысяч старыми!

Полученные деньги позволили целый год заниматься одной только живописью. Зима, правда, снова загнала в комнату теток, но я старался занимать там как можно меньше места. И непрерывно рисовал. В тот год меня особенно привлекала живопись Рембрандта. Теперь я старался рисовать "под него". Отличными моделями служили сами тетки. Настоящий еврейский рембрандтовский тип! Я старался в точности передать форму их рук с набухшими венами, выражение грустных морщинистых лиц.

Наконец, в 1950 году я получил паспорт. И меня тут же вызвали в быковский военкомат. Дача была продана, однако, благодаря ходатайству тетки и, в особенности, данной ею в милиции взятке, меня прописали по быковскому адресу. Полковник, к которому я попал в военкомате, возненавидел меня с первого взгляда. Постукивая карандашом по столу, он сказал, что я явился слишком поздно, что мой возраст призывался уже два года назад и что за подобное поведение он пошлет меня туда, куда "Макар телят не гонял".

И вот я, наголо обритый, с сотнями других новобранцев потащился в теплушке в неизвестном нам направлении. Поезд шел долго, а приехал всего-навсего по другую сторону Москвы. Пришлось пройти множество

медицинских проверочных комиссий, краснеть и бледнеть, стоя голым перед женщинами-врачами. Наконец, последняя, самая важная медицинская комиссия признала меня негодным к несению воинской службы в бронетанковых войсках, куда я был направлен, по причине близорукости. Увидев меня снова в своем кабинете, быковский полковник затрясся от ярости: "Ах так! Ну, ничего! Никуда ты, голубчик, не денешься, направлю тебя в стройбат, и будешь вкалывать, как миленький!" Стройбаты поставляли даровую рабочую силу для всякого рода тяжелых работ. Но, как видно, не судьба мне была служить в армии. Снимая дачу в Виноградове, я поменял место жительства и адрес и, соответственно, военкомат. Каждые три-четыре месяца я, конечно, должен был туда являться, однако, дело кончалось тем, что в мою военную книжку просто вклеивали новый мобилизационный листок.

СЕМЬЯ КРОПИВНИЦКИХ

Даже теперь, когда Евгению Леонидовичу исполнилось восемьдесят пять лет, к нему постоянно приходят молодые художники и писатели. Человек, сам страстно увлеченный искусством, он умеет увлечь других. Сын мелкого железнодорожного служащего (его отец работал на станции Царицыно под Москвой), молодой Кропивницкий окончил Строгановское училище и получил диплом, который дал ему право работать учителем рисования. Дома он писал полотна, которые почти никогда не выставлялись, и сочинял стихи, которые не публиковались. Стихов этих существует больше тысячи, и многие из них – замечательные. В живописи, кроме абстрактных полотен, большое место в его творчестве занимают изящные пейзажи с натуры и серия ню и портретов нимфеток, к красоте которых он был особенно неравнодушен. Из-за отсутствия пианино Евгению Леонидовичу пришлось отказаться от сочинения музыки, но помню, что сочиненную им в молодости оперу мы хором пели на Долгопрудной.

Евгений Леонидович был прирожденным учителем. В условиях советской власти он учил свободе от всяческих схем и догм. В его доме не чувствовалось гнета времени, дышалось легко и свободно.

Всю свою долгую жизнь Евгений Леонидович жил на небольшую зарплату учителя рисования, ничтожную даже по советским меркам. Он был беден, однако, незаметная должность учителя рисования давала ему редчайшую возможность быть духовно свободным и ни от кого не зависеть. Материальной стороне жизни он не придавал особенного значения, вещей не любил и тяготился ими, хотя не относился к категории людей, готовых отдать ближнему последнюю рубашку. Евгений Леонидович, даже если бы у него было такое желание, не смог бы этого сделать – у него у самого была одна-единственная. Превыше всего этот человек ставил духовный и интеллектуальный комфорт. Он был эгоистом, каким нередко бывают люди искусства. Погружаясь в собственный мир, он, казалось, не замечал, в какой бедности живет его семья,

которой без Ольги Ананьевны пришлось бы плохо.

Ольга Ананьевна была удивительная женщина, почти святая. Таково мнение всех, кто ее близко знал. Евгений Леонидович встретил свою будущую жену в провинции, куда его семья переселилась из страха возможных преследований – дело было сразу после революции. Отец Ольги Ананьевны, умерший сравнительно рано, был выходцем из крестьян. Очень одаренный и трудолюбивый, он сумел окончить университет и стать врачом. За особые заслуги в медицине ему присвоили личное дворянство. Ольга Ананьевна окончила педагогическое художественное училище и стала учительницей рисования. Ей пришлось работать в деревне, и она одно время преподавала, потом работала счетоводом и библиотекарем. Как бы трудно ни было, какие бы неприятности ни сваливались на голову, Ольга Ананьевна никогда не жаловалась. Я ни разу не слышал от нее ни единого слова упрека в чей-нибудь адрес. Понимая заботы и горести каждого, она всем стремилась помочь. Когда муж, неисправимый Дон-Жуан, обижал очередную "даму сердца", Ольга Ананьевна старалась ее утешить. Брак Кропивницких никогда не был зарегистрирован – в те времена этому не придавали значения – однако, они вырастили двух детей и прожили вместе пятьдесят два года, до самой смерти Ольги Ананьевны в 1971 году.

Ни один из членов семьи Кропивницких, кроме, может быть, бабушки, не придавал никакого значения дворянскому происхождению рода Кропивницких. Я упоминаю об этом лишь потому, что сын Евгения Леонидовича Лев поплатился за свою "голубую кровь" десятью годами лагерей. По-настоящему я познакомился с ним лишь после его возвращения из ссылки, когда умер Сталин, однако, много слышал о нем от Евгения Леонидовича и Вали, которые гордились его умом и самыми разнообразными талантами.

История ареста Льва Кропивницкого такова. Его взяли на фронт в августе 1941 года, едва ему исполнилось восемнадцать лет. Отвоевав два года, Лев получил тяжелое ранение и много времени провалялся в госпиталях. Демобилизованный как инвалид, он хотел заняться живописью и поступил в Институт прикладного и декоративного искусства, где директором в то время был Дейнека. Там он сблизился с группой демобилизованных, как и он, офицеров, которых связывало одно: благородное происхождение. Молодые люди собирались, чтобы порассуждать об особенностях советского и царского режимов, о своих предках и о том положении, которое они, потомки дворян, могли бы занимать в государстве, не случись большевистской революции. Их очень скоро выдали, и каждый получил от десяти до пятнадцати лет лагерей за контрреволюционную деятельность. Самое плохое заключалось в том, что у "дворян" хранились списки знакомых, которых они по тем или иным признакам причисляли к аристократам и которыми рассчитывали пополнить свои ряды. Эти списки попали в КГБ, и все в них упомянутые тоже получили большие сроки.

Среди упомянутых в списках находился молодой, очень талант-

ливый художник Борис Свешников. Не знаю, текла ли в его жилах голубая кровь, знаю только, что свои восемь лет он отсидел полностью. Замечательные рисунки, которые ему удалось сделать в лагере, гораздо больше расскажут о сюрреалистической лагерной жизни, чем некоторые рассказы и повести. Освободившись, он тихо писал свои фантастические полотна, никому их не показывая и стремясь вообще как можно меньше общаться с людьми. Последние годы мы с ним подружились, но он не решался участвовать в наших выставках. Борис Свешников состоял в Союзе художников в секции графики и иллюстрациями зарабатывал себе на жизнь.

В Долгопрудной многие знали, что Лев сидит, однако, относились к Кропивницким по-прежнему хорошо. После смерти Сталина Льву на год снизили срок, он отсидел девять лет, и, отбыв еще два года ссылки, вернулся в Долгопрудную. Оглядевшись и немного придя в себя, Лев со свойственным ему энтузиазмом и энергией принялся за живопись. О годах, проведенных в лагере, он вспоминать не любил.

ЖЕНИТЬБА НА ВАЛЕ

Сняв дачу в Виноградове, я практически там только ночевал – все остальное время проводил у Кропивницких. Евгений Леонидович не любил подолгу сидеть дома и время от времени делал "вылазки" в Москву. Иногда брал меня с собой. Центром прогулок всегда была улица Горького. На ней находилось тогда множество пивных, и мы не пропускали ни одной. Евгений Леонидович покупал 50 граммов водки, 100 граммов портвейна, смешивал и пил этот коктейль. Я ему подражал. В соседней пивной все повторялось сначала. Потом заходили в рыбный магазин и покупали триста граммов жареной трески. Треску тоже запивали коктейлем. Так проходил день. Мне было тогда двадцать два года.

Валя работала помощником бухгалтера на соседнем авиационном заводе. Евгений Леонидович преподавал, Ольга Ананьевна работала в сельсовете библиотекарем. Неподалеку от дома был огород, без которого жить в то время было трудно. Весной его вскапывали и сажали овощи. Помню, как мы с Валей построили сарай, в котором впоследствии, когда мы поженились, мы даже некоторое время жили. Я ждал, когда она приходила с работы, и мы уходили гулять. Валя писала небольшие рассказы с фантастическими сюжетами, но считала их слабыми и почти никому не показывала. Для меня она была существом совершенно особым. Валя и в самом деле не была похожа ни на одну из знакомых мне женщин – говорить много не любила, задумчиво слушала, всегда скромная, тихая... Ее мало интересовали наряды, тем более, что и наряжаться было особенно не во что. У нее почти не было подруг. Валя во многом была похожа на мать, от отца же унаследовала безразличие к материальной стороне жизни и нелюбовь к большому количеству вещей: в доме должно быть только необходимое.

Однажды Валя попросила, чтобы я помог ей купить пальто. Деньги на эту покупку она копила уже давно и боялась, что на рынке спекулянты могут ее обмануть. Прошедший сунгуровскую науку, я торговался так бойко, что сумел выторговать по сносной цене вполне приличное пальто. Чтобы отпраздновать столь торжественное событие, я пригласил ее в парк имени Горького. У меня еще оставались деньги от проданной дачи, и я решил это отметить. Заказали шампанское, что по нашим понятиям было роскошно. От шампанского зашумело в голове, и жизнь показалась удивительной и прекрасной. Потом мы гуляли по парку, о чем-то говорили, болтали, смеялись. Присели на скамейку. Валя замолчала, притихла, и я с таким чувством, с каким бросаются в холодную воду, сказал: "Валя, я уже давно тебя люблю и очень тебя прошу – выйди за меня, пожалуйста, замуж!"

На другой день, когда Валя вернулась с работы, мы ушли гулять и вернулись домой в три часа ночи. Евгений Леонидович ждал, сидя на ступеньках перед дверью. Голосом, в котором звучали трагические нотки, он объявил, что хочет со мною серьезно поговорить. Часа два он меня убеждал, что я талантливый художник, что, женившись, погублю свой талант, что искусство и семья друг другу противопоказаны. У него, сказал он, случай совершенно особый, ибо жена его – святая, но исключение лишь подтверждает правило...

Видя, что этот довод на меня не действует, Евгений Леонидович стал говорить о том, что для женитьбы я слишком молод, что Валя ко всему прочему не разведена и у нее ребенок. На другой день он разговаривал с Валей. Ей он сказал, что да, безусловно, Рабин очень талатлив, однако, рассчитывать на него как на главу семейства глупо и безрассудно. Человек он неустроенный, живет без куска хлеба и без крыши над головой и что, скорее всего, он через некоторое время ее бросит.

В конце концов мы с Валей решили объявить официально, что решили пожениться. Опять была куплена бутылка шампанского, и когда сели ужинать, я поставил бутылку посредине стола и со всей официальностью, на какую был способен, объявил, что мы с Валей любим друг друга и будем жить вместе. Ольга Ананьевна отнеслась к этому сообщению хорошо. Евгений Леонидович иронически улыбался. Так началась моя новая жизнь.

ДЕСЯТНИК

Оформить брак официально мы с Валей не могли, однако, в наших отношениях это не играло особой роли. Женившись, я тут же стал искать работу. Я готов был делать, что угодно. Однако моя интеллигентская внешность, очки и застенчивость настораживали начальников отделов кадров.

В конце концов, каким-то чудом мне удалось устроиться десятником на строительство Северной водопроводной станции. Эта стройка

зависела от МВД, начальство состояло из военных, и анкета каждого сотрудника должна была быть безупречной. Начальник отдела кадров знал, что я занимаюсь живописью. Принимая меня в своем кабинете, он сказал, что ему необходимо отреставрировать несколько картин, к тому же он давно ищет художника, который бы нарисовал портрет его дочери. Мы обо всем договорились, и я стал заполнять бесчисленное количество анкет. Добросовестно отметил все пункты, однако, тот факт, что брат моей жены – политзаключенный, благоразумно опустил.

Мы продолжали ютиться у Кропивницких. На лето, правда, перекочевали в построенный собственноручно сарай, но это никак не решало проблемы с жильем. Наступила осень, и, проснувшись однажды в нашем сарае, мы увидели, что подушки покрыты инеем. Надо было срочно переезжать, но куда? Особым преимуществом моей службы являлось то, что она давала право на получение жилплощади в ведомственном доме. Да только ведь одно дело – право и совсем другое – действительность. Жилплощади в нашем ведомстве ждали годами. И тут мне снова повезло. Дело в том, что находившийся в Лианозове (четыре километра от моей работы) лагерь куда-то перевели, а бараки, в которых жили заключенные, предоставили гражданским. Благодаря все тому же начальнику отдела кадров – любителю живописи – мы получили в этом бараке комнату, причем не такую, как у всех, с общим коридором и одной уборной и кухней, а находившуюся в отдельной квартирке. И соседей у нас было не пять и не десять, а всего одна женщина-врач, которая переехала к себе не сразу, а лишь через несколько месяцев, так что мы какое-то время были обладателями отдельной квартиры.

Девятнадцатиметровая вытянутая в длину комната с единственным окном по торцовой стене казалась непривычно огромной. Как раз посредине, соединяя пол с потолком, стоял толстый столб, к которому раньше крепились нары. Нам он только мешал, однако убирать его мы не хотели, боясь, что может обрушиться потолок. Был у нашего жилища еще один, и очень серьезный недостаток – сырость. Построенный без фундамента, прямо на земле, барак был настолько сырым, что стоявшая на полу обувь через несколько дней покрывалась плесенью. Но на такие мелочи мы не обращали внимания. Впервые в жизни у нас была собственная комната, и мы были счастливы.

Вначале, кроме матраса, двух стульев, столика, подаренного Евгением Леонидовичем и Ольгой Ананьевной, и зеркала в медной оправе у нас ничего не было. Постепенно я сам сколотил обеденный стол, несколько табуретов и полочек. На долгое время проблема с жильем была благополучно решена. Лев, который к тому времени вернулся из ссылки, жил гораздо хуже нас. Его жене, работавшей бухгалтером на нашем строительстве, выделили комнату в бараке на сорок семей с одной кухней, уборная находилась на улице. Привыкший ко всему Лев не унывал и, посмеиваясь, говорил, что это еще не самое плохое в жизни, а готовить они предпочитают на керосинке в комнате, так что снимается проблема кухонных ссор. Он зарабатывал иллюстрациями, бегал из издательства в издательство, выколачивал заказы.

Лев тогда увлекался всем западным и, несмотря на то, что сведение об искусстве Запада были очень скудными, восторженно принял идею абстрактной живописи. Он разыскивал репродукции с картин Мондриана, Клее, Миро, Дали и других и, не имея возможности их купить, – цены на черном рынке на такие вещи были большие – фотографировал их. Посмотреть фотографии, посидеть, поспорить к нему приезжало множество народу. Сам он писал большие абстрактные полотна, вызывавшие среди нас отчаянные споры.

Внешне Лев выглядел тогда презабавно. Где-то купил пальто в клетку с широченными плечами, короткие узкие брючки и ярко-желтые туфли на толстой подошве. При небольшом росте и коренастой фигуре такая одежда ему совсем не шла, но он носил ее, как бы бросая вызов развернувшейся вовсю кампании против стиляг. Она длилась долго и кончилась тем, что узкие брюки и яркие галстуки постепенно вошли в моду.

Приблизительно через полгода строительство водопроводной станции закончилось, и меня перебросили в отдел железнодорожного транспорта того же ведомства МВД. Мой ангел-хранитель, начальник отдела кадров и тут мне помог. Теперь я сутки работал и двое суток отдыхал. Таким образом освобождалось время для живописи. Я рисовал все, что видел вокруг – приземистые бараки, повисшие над крышей провода, отраженный в луже свет тусклой лампочки и роющихся на помойке котов. Эти картины я никому, кроме друзей, не показывал, и жизнь до поры, до времени текла тихо и спокойно.

Работа была довольно тяжелой. Под моим началом работало сорок заключенных, посылаемых из лагеря на погрузку и выгрузку стройматериалов. Посылали их в любое время суток и при любых условиях – если надо, работали ночью, работали под проливным дождем и при сорока градусах мороза. Главной заботой начальства было довести до минимума простой вагонов, ибо при нарушении сроков платились штрафы, горел план и снижалась зарплата. И за все это отвечал десятник.

Пока разгружали кирпич или щебень, все шло более или менее нормально. Но как только приходилось разгружать негашеную известь или цемент россыпью, срок тут же летел ко всем чертям. Для работы с известью грузчикам по правилам безопасности полагаются респираторы. Но так как на стекла очков тут же садится плотная пыль, то мои грузчики предпочитали закрывать рот и нос простым носовым платком. Эту проклятую известь нельзя бросать лопатами, ее можно перевозить только на тачках. Вот и получалось, что обычный четырехосный вагон выгружали за несколько часов, а вагон с негашенкой – за двое суток.

Как обычно, планы выполнялись и даже перевыполнялись... на бумаге. Сочинялись дутые цифры, приводились фальшивые отчеты. Такой порядок не нами был придуман. Так поступают все. И в нашей организации в результате была вечная недостача, строительство не вылезало из дефицита, и банк то и дело отказывался платить. Зарплата задерживалась, подымался скандал, и время от времени кого-то из начальства увольняли.

Моя работа начиналась в восемь утра. Я вставал в полседьмого, завтракал и шел пешком вдоль железнодорожного полотна. Иногда, если мимо шел состав, махал рукой машинисту, чтобы притормозил. Выгрузка вагонов шла безостановочно, и нужно было прийти вовремя, чтобы сменить напарника. Мы никогда не знали заранее ни числа прибываемых вагонов, ни какой в них находится груз. Объявляли только время прибытия состава. Узнав час, я немедленно звонил в лагерь, чтобы присылали "аварийную" бригаду. Так они у нас назывались. Доставал ломы, кирки и лопаты.

Хуже всего, когда приходилось звонить в лагерь ночью. Сколько раз, бывало, надзиратель, которому не хотелось выходить из теплой вахты и ругаться с сонными зеками, отвечал по телефону: "Тебе они, десятник, нужны, ты их и буди!" И приходилось идти в лагерь самому три километра пешком, в темноте, иногда в лютый мороз. Предупрежденный часовой пропускал в зону, я заходил в барак, где при свете постоянно горевшей лампочки спала сотня заключенных – три сменных бригады. Я будил бригадира и объяснял, что прибыли вагоны под разгрузку. Начинался торг. Чаще всего спорили о том, что еще лишнего можно приписать в нарядах, так как только благодаря этому заключенным начислялась зарплата. И еще то, что при перевыполнении плана были зачеты и лагерный срок, хоть и ненамного, но сокращался.

Наряды выписывал десятник, и заключенным представлялось, что от меня очень многое зависит. На самом деле от меня не зависело почти ничего. Бухгалтер следил за моими бумагами и, зная про подтасовку цифр, постоянно их уменьшал. Это была система взаимного обмана, а десятник становился, по сути дела, буфером между начальством и заключенными. Он должен был вести себя очень умело – не раздражать вышестоящих и не вызывать злобу заключенных.

Найдя, наконец, компромиссное решение, мы с бригадиром принимались будить заключенных. И начиналось... Со всех сторон неслись мат, вопли и проклятья. Иногда вдруг кому-то удавалось выключить свет, и в темноте раздавалось хриплое: "А ну-ка, ребятки, давайте зарежем десятника!" Свет зажигался. На меня смотрели сотни любопытных глаз, каждый пытался поймать страх на моем лице.

Однажды я решил, что с меня хватит безропотно глотать оскорбления, и я должен ответить грузчикам той же монетой. Выслушав привычную брань, я разразился потоком самого отборного мата. Ответом было молчание. Наконец, чей-то голос тихонько сказал: "Не надо, десятник. Не для тебя это... Материться ты не умеешь и никогда не научишься... Да и ни к чему тебе это". С тех пор я никогда больше в жизни не матерился.

Работа не всегда бывала тяжелой. Иногда вагоны не прибывали и удавалось немного поспать в железнодорожной будке, которая стояла на запасных путях. Побольше поспишь на работе, больше времени останется днем на рисование. Но такое случалось, если не надо было чистить седьмой путь. Ох, уж этот знаменитый путь номер семь! Он обслуживал не-

большой камнедробильный заводик, на котором работали женщины из соседнего женского лагеря. Работать на этом пути для заключенного единственная радость, счастье и просвет в тусклом лагерном существовании. Работая рядом с женщиной, можно перекинуться с ней словом, сунуть записочку, назначить свидание. Здесь завязывались знакомства, вспыхивали интрижки, возникали порой настоящие большие чувства. Кто знает, сколько пар познакомилось, стало встречаться, а в дальнейшем, уже на свободе, может, поженились благодаря пути номер семь. Надзор там был не очень строгий, конвоиры были и сами не прочь позабавиться. Только задремлешь – телефонный звонок: "Але, десятник! Сегодня ночью на седьмой состав прибыл?" "Нет, – отвечаю, – не прибыл". Солдат не унимается: "Может, пути надо почистить?.." "Нет, – отвечаю, – совершенно чистые пути, ничего делать не надо". Конвойный и без меня об этом прекрасно знает, однако настаивает: "Послушай, десятник! Устрой это... Никто не спит. Ждут звонка..." Я подчиняюсь, потому что, если откажу, то в следующий раз вместо часа они будут разгружать вагон целый день. А начальство претензии ко мне – не умеет работать с людьми.

Страшнее была уголовная ответственность десятника при несчастном случае. Техника безопасности существовала только на бумаге. Работа была очень опасной: участки между путями скользкие, слабоосвещенные, провода высокого напряжения протянуты невысоко. Грузчики постоянно работают ночью и рядом с проводами. Их шатает от усталости, глаза слипаются. В темноте движется состав, человек зазевался – и нет человека. Судить будут десятника. Непреднамеренное, конечно, убийство, однако, пять лет как минимум дадут. Это была одна из причин моей постоянной мечты: как можно скорей уйти с этой работы. Однако перспективы не было никакой.

Незадолго до рождения сына Саши в 1952 году к нам переехала жить валина бабушка, мать Евгения Леонидовича. Рано овдовев, она в течение долгих лет жила у своей сестры, жены служащего какого-то министерства, квартира которого находилась в самом центре Москвы. Но сестра умерла, чиновник женился вторично, выбрав на этот раз в жены собственную домработницу. Домработница приказала срочно выселить чужую, никому не нужную бабку.

Она жила у нас несколько лет, а последние два года медленно умирала от старости. Страшно было смотреть на иссохшее лицо и покрытое струпьями тело, от которого исходил зловонный запах. Мы меняли простыни каждый день, однако, всякий раз, переворачивая бабушку, вынуждены были закрывать платком нос. Разрешение на захоронение выдали, даже не засвидетельствовав акта о смерти. К тому же сказали, что мест на кладбище нет, но что в соседнем лесу находится дикий участок, где люди самовольно, без всякого разрешения роют могилы и хоронят родственников. За гробом пришлось ехать в Москву, но дать погребальный автобус там отказались, заявив, что живущие за городом на это права не имеют.

Пришлось договориться с шофером мебельного фургона, который согласился не только перевезти гроб, но и отвезти тело на кладбище. Я дал ему 300 рублей старыми, почти половину моей тогдашней зарплаты, и попросил помочь вырыть могилу. Шофер долбить с нами мерзлую землю отказался, зато показал, как уложить тело в гроб и как опустить гроб в яму. Он оказался очень сведущим в делах погребения, так как, очевидно, не впервые использовал мебельный фургон в качестве погребального катафалка. Наконец, работа была закончена. Лев сколотил деревянный крест и установил его над могилой. Мы возвращались домой поздно ночью, совершенно разбитые, измученные и очень печальные.

Лесное кладбище существует до сих пор. Оно разрослось, расширилось и отхватило у леса новый порядочный кусок. Там стало теперь столько могил, что, принося цветы на бабушкину могилу, мы с трудом ее находили. Людям начальство, должно быть, по-прежнему говорит: "Наше дело маленькое. Если хотите, хороните на неохраняемом. Там все хоронят". Но если однажды тому же начальству для чего-нибудь понадобится этот участок, оно тут же его займет и уничтожит все могилы. Начальству на всякие сентиментальные чувства наплевать.

Гораздо позже – мы тогда уже жили в Москве – почти так же, но уже от болезни умирала Ольга Ананьевна. У нее был неизлечимый рак печени, в больницу ее не брали. От ужасных болей спасал только морфий. Однако, в поликлинике его выдавали в ничтожных количествах и надо было долго ждать разрешения главврача, единственного, имевшего право на выписывание наркотиков. Не знаю, как бы мы все это пережили, если бы я не сумел доставать морфий на черном рынке. Вот уж воистину – не имей сто рублей, а имей сто друзей, хотя в данном случае и рубли имели громадное значение.

Ольга Ананьевна умерла на наших руках в ночь с 8-го на 9-е мая, как раз накануне празднования Дня победы. Когда я пошел в ЗАГС, чтобы оформить акт о смерти и попросить разрешение на захоронение, все уже было закрыто. Без этих документов тело отказывались забрать в морг. Как назло, весна в этом году выдалась очень теплая, и уже через некоторое время трупный запах заполнил всю квартиру. После праздников служащий из морга все-таки появился и объявил, что уже слишком поздно и он отказывается замораживать. Я дал ему порядочную сумму, и все немедленно устроилось. Купили гроб, прибыл автобус, и мы поехали в крематорий. Таково было желание Евгения Леонидовича – сжечь тело жены в крематории, сама же Ольга Ананьевна никаких пожеланий по этому поводу не высказывала.

Наша жизнь в Лианозове была счастливой, но материально тяжелой. Я зарабатывал 680 рублей старыми деньгами в месяц. Валя некоторое время работала на заводе, но когда мы окончательно устроились на новом месте и забрали Катю от бабушки с дедушкой, работу пришлось бросить, потому что в яслях Катя часто болела. Дети там часто болели, потому что на сорок ребятишек в группе полагалось всего две няни.

Мы рассудили, что чем то и дело брать бюллетень, будет лучше, если Валя останется дома. Как-нибудь проживем на одну зарплату. Однако, прожить на одну зарплату, да еще на такую мизерную, было трудно. Питались, в основном, картошкой, кислой капустой, килькой, по три рубля килограмм, (ее мы закупали сразу по килограмму) и мелкой рыбешкой хамсой, которая теперь почему-то исчезла из продажи. С картошкой и постным маслом эта хамса была довольно вкусной! Для детей покупали на неделю сто граммов сливочного масла и поллитра молока на два дня. Чай пили слабый, чуть подслащенный, колбасу покупали "собачью радость". Однажды мы с Валей решили поджарить "собачью радость" на сковородке, чтобы хоть немножко улучшить вкус. Когда колбаса эта нагрелась, то вдруг растаяла, и мы увидели вместо кусков красноватую воняющую жидкость.

На работе три рубля уходило у меня на обед, причем в столовой я покупал суп без мяса за сорок копеек (с мясом стоил в два раза дороже), второе стоило два пятьдесят, но я брал полпорции – по рубль пятьдесят, а на третье – чай. Иногда, если оставалось несколько лишних копеек, покупал маргарин, чтобы намазать на хлеб. Без чего я уже совершенно не мог обходиться, так это без папирос. В то время самыми дешевыми были "гвоздики". У них название было другое, но все называли их так за внешний вид – тоненькие, как гвозди и сделаны из самого дрянного табака. Бумага у "гвоздиков" всегда рвалась, а табак рассыпался, как пыль. Чуть лучше был "Прибой", а "Беломор", который теперь курят все, считался шиком. О "Казбеке" и не говорю – его курило только большое начальство.

Когда я приносил домой получку, мы с Валей садились и подсчитывали расходы. Однако при самой строжайшей экономии все равно еле-еле дотягивали до следующей получки. Но иногда случалось, что кто-нибудь заказывал нарисовать картину, и я в сотый раз делал копию шишкинских "Медведей в еловом лесу". И тогда устраивался пир. Мы уезжали в Москву, покупали там 200 граммов дорогой колбасы (тогда полно было в продаже всяких копченых колбас, ветчин, осетрины, севрюги, икры – были бы только деньги), граммов 50 красной икры и бутылку портвейна. Потом мы гуляли в парке, чуть захмелевшие, болтали, смеялись, мечтали о невозможном – к примеру, о том времени, когда я смогу уйти с работы и зарабатывать на жизнь только живописью или о том, как вдруг получится, что мы сумеем получить комнату в Москве.

В начале марта 1953 года газеты и радио сообщили, что Сталин тяжело болен. К нам, помню, пришел Сапгир, и мы подняли тост за то, чтобы Сталин умер. Через день, когда я был на дежурстве, услышал по радио о его смерти.

В течение нескольких дней в Москву нахлынуло такое количество народа, что поезда перестали останавливаться на пригородных станциях. Те, кто были на похоронах, рассказывали, что похороны вождя вылились в грандиозную Ходынку. Люди притихли – все ждали, что будет дальше.

Сначала власть перешла в руки Маленкова. Он казался более респектабельным, чем Берия с его устоявшейся репутацией палача. Маленков в своей речи объявил, что приложит все усилия к тому, чтобы народу жилось лучше. "Каждый советский гражданин, – сказал он, – получит поросенка к воскресному обеду". Маленков сам был похож на свинью, и над ним исподтишка посмеивались – мол, пускай сам собой и обеспечивает каждую советскую семью. Но вскоре Маленков исчез с горизонта, и все страшно удивились, что его не расстреляли, не посадили в лагерь, а отправили начальником на какую-то сибирскую стройку. Воистину, над страной повеяли новые ветры.

У нас на работе тоже произошли перемены. Лагеря уничтожались один за другим, рабочих стали брать вольных, а нашу организацию перевели в Министерство путей сообщения. Работать по двадцать четыре часа в сутки запретили из опасения несчастных случаев, и мне пришлось перейти на новое, совершенно не устраивающее меня расписание. Теперь я почти совсем не мог заниматься живописью. Зарплата не увеличилась, никаких шансов на продвижение у меня не предвиделось, работал я спустя рукава, и начальство открыто мне говорило: "Твое место не здесь, десятник... Может, имеет смысл подыскать другую работу?"

И в 1956 году я решил – была не была – уйти с осточертевшей работы. Как раз незадолго до того вышел закон, закреплявший жилплощадь за теми, кого уволили по сокращению штатов. Нарисовав очередную картинку и подарив ее очередному начальнику, я упросил его, чтобы меня уволили по сокращению штатов. Именно в это время у Евгения Леонидовича я познакомился с художником Колей Вечтомовым, который работал на Декоративно-оформительском комбинате. Время от времени от отдавал мне свои заказы, что позволяло зарабатывать в месяц приблизительно половину моей зарплаты. Продолжая рисовать портреты и делать копии, я мог заработать вторую половину. Разница состояла лишь в том, что прежний заработок был постоянным и регулярным, что давало ощущение стабильности, а нынешний зависел от самых неожиданных вещей и заставлял жить с чувством постоянной тревоги и неуверенности в завтрашнем дне. Но другого выбора не было.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФЕСТИВАЛЬ!

Подготовка к Международному фестивалю молодежи началась задолго до его открытия.

Разрешая в 1957 году устроить Международный фестиваль, Никита Хрущев стремился ошеломить приехавших в Союз западных гостей. Чтобы достойно представить СССР в области искусства, по всей стране организовали серию выставок. На нижней ступени находились областные, где производился первичный отбор. Лучшие произведения отсылались на республиканские выставки, и после нового отсева полотна представлялись на общесоюзную выставку, где жюри делало окончательный отбор.

И тогда я решил попытать счастья. Пришлось собрать все мужество, чтобы представить на Московскую городскую выставку четыре очень тщательно написанных пейзажа. Отвергли все четыре. Однако на том же конкурсе я увидел, что жюри приняло три работы не знакомого мне тогда художника Олега Целкова. Это были режущие глаз яркие полотна, написанные плоскостно и без перспективы. Тогда я не знал, что эти картины выполнены в манере позднего "Бубнового валета".

Жюри проявило исключительный интерес к работам Целкова, и меня удивили горячие споры, которые вокруг них развернулись. Мои скромные пейзажи казались мне гораздо лучше сделанными хотя бы с точки зрения профессиональной. Домой я вернулся очень расстроенный и сказал сам себе: "Ну, что ж, если вам это нравится, вы это получите!" В то время Кате исполнилось семь лет, и она, как все дети, любила рисовать. Рисовала цветными карандашами все, что видела – дома, деревья, бабушку с дедушкой. Я подумал: "А что, если увеличить один из ее рисунков и перенести его на полотно!"

И тогда же я написал картину "Бабушкины сказки", потом пейзаж с луной и двумя мяукающими котами – он назывался "Мечта о третьем коте" – и еще две работы в том же духе. Для меня подобная живопись, выполненная кистью и мастихином, превратилась почти в игру. Позже я понял, что именно эта игра позволила мне раскрепоститься, освободиться от всего, что сковывало до сих пор.

Тем не менее, неся свои "Сказки" и "Котов" на выставком, я чувствовал себя чуть ли не обманщиком. Но мои новые картины вызвали настоящую баталию между членами жюри. Обсуждение длилось

больше сорока минут. Увы, и на этот раз ни одна работа не была принята к показу. Решив не отчаиваться – у меня вдруг появилось ощущение, что должны произойти перемены, – я стал искать, что бы могло им понравиться. Решил обыграть "социальный" сюжет. Нарисовал "безработного", который сидел в мятой шляпе на пороге какого-то мрачного дома. Берзработный глядел вдаль, опустив меж колен узловатые, натруженные, "рабочие" руки. Изображенная на другой картине проститутка, стояла, опершись о фонарь и вызывающе курила сигарету. Это уже для того, чтобы в отношении девицы не оставалось никаких сомнений. Я проституток сроду не видел и думал, что курение сигарет является определяющим признаком их профессии. То, что подобные сюжеты почерпнуты из западной жизни, подразумевалось само собой, ибо кто же у нас не знает, что ни проституток, ни безработных в стране Советов нет. Кроме того, я сделал несколько монотипий (техника, в то время мало знакомая).

Между членами третьего выставкома вновь разгорелись ожесточенные споры по поводу моих "социальных" картин. Одни находили их чрезвычайно сильными, другие говорили, что подобные полотна могут оскорбить наших западных гостей. Победила точка зрения последних, но зато они приняли одну из монотипий, на которой был изображен скромный букет полевых цветов. Эта моя монотипия и была выставлена на фестивале и даже получила почетный диплом! В тот же вечер, вернувшись домой, я уничтожил и "Безработного", и "Проститутку". Слава Богу, что эти надуманные картины не понравились начальству. Впрочем, я отлично понимал, что если бы они начальству понравились, я был бы доволен. Тогда я считал совершенно естественным, что надо писать работы, которые нравятся начальству – все равно, будь то рекламные плакаты нашего комбината, будь то пейзажи или натюрморты. А если хочешь писать для себя, для души, то и занимайся этим дома для собственного удовольствия и показывай самым ближайшим друзьям.

Незадолго до фестиваля я познакомился с широко известным в московских кругах художником Юрием Васильевым. Евгений Леонидович говорил, что он делает интересные вещи. В то же время я знал, что Васильев – член партии и занимает прочное положение в Союзе художников. Как это могло совмещаться? Как ни странно, могло, и вскоре я в этом убедился. Придя к нему домой, я увидел на стенах удивительные для меня абстрактные полотна , скульптуры в стиле Арпа и мобили в стиле Кальдера. Одна особенно привлекла мое внимание: деревянная колода в человеческий рост с вклееными в нее предметами – монеты, пуговицы, осколки стекла. Васильев работал над скульптурой много лет и считал, что закончит ее к концу жизни. "Настоящий художник, – сказал он мне, – должен постоянно собирать всюду то, что ему нравится, и затем вносить в свои произведения". Работы Васильева оказались настоящей историей современного искусства, но я этого не знал и был поражен. Надо сказать, что и сам Юра не скрывал того, что он работает в стиле того или иного западного художника.

На фестивале Васильев выставил портрет, выполненный в ван-гоговской манере, Васнецов – в дереновской, на картинах Жилинского и Коржева лежал явный отпечаток итальянского неореализма, проникшего в Союз благодаря кинофильмам. В коржевской картине "Любовь", например, на берегу реки сидят двое – мужчина и женщина. Лица у них усталые, грубые, руки большие, натруженные. Неподалеку лежат два велосипеда. Ни серпов, ни молотов, ни сияющих вершин коммунизма... Лет через десять, когда подобная манера вошла в моду, и власти стали терпимо к ней относиться, меня нередко спрашивали, почему я не последовал тогда примеру этих художников. Ходил бы теперь в преуспевающих. Я никогда не знал, что ответить.

Перед фестивалем художественную Москву залихорадило. Люди постоянно встречались, обменивались мнениями, обсуждали, в основном, картины членов "левого крыла" Союза художников. Те горделиво на всех поглядывали. Меня, мелкую сошку, никто не замечал, но и я, помнится, тоже никого не замечал, ходил возбужденный общей празднично-напряженной атмосферой. Когда фестиваль открылся, перед художественным павильоном образовалась огромная очередь. С утра я уже бежал в парк Горького и толкался в зале, где висела моя монотипия. Никогда ни до того, ни после я не испытывал такой гордости, какую вызывала во мне эта маленькая скромная работа Это была первая и, увы, последняя моя картина, которая была выставлена на официальной советской выставке.

КОМБИНАТ

Я перестал работать на железной дороге, и неотвязной заботой стало беспокойство о завтрашнем дне. Иногда я даже жалел, что бросил пусть и дрянную, но зато обеспечивавшую твердый заработок службу. Левая работа едва позволяла связать концы с концами. И, несмотря на то, что выполненные мною заказы, как правило, нравились, у меня не хватало духу пойти попроситься в комбинат на постоянную работу. Полученный на фестивале диплом прибавил храбрости. Я предстал перед начальником отдела кадров комбината, хорошенькой женщиной, которая едва взглянув на знаменитый диплом, сказала, что эта бумажка ничего для них не значит и что своих работников девать некуда, не то, что брать чужих с улицы. Обратно я шел мимо дирекции, куда решил на всякий случай постучаться: а вдруг повезет!

Директор жестом пригласил меня сесть и спросил, что мне нужно. Положив диплом на краешек стола, я довольно невразумительно стал объяснять, что, мол, я как участник фестиваля и как художник, имеющий диплом... Директор посмотрел диплом и сказал: "Вы только на него посмотрите! Это же лауреат Международного фестиваля молодежи, а у нас нет в комбинате даже простых участников!" – и тут же велел принять меня в комбинат, объяснив начальнику отдела кадров, что "лауреаты Международных фестивалей на улице не валяются". Я в мгновение ока был принят на работу.

Надо сказать, что поначалу она меня очень устраивала. Во-первых, потому, что впервые в жизни я мог зарабатывать на хлеб с помощью кисти и каранадаша и, во-вторых, потому, что благодаря Комбинату я был избавлен от необходимости наниматься в дворники или в ночные сторожа, так как ничего другого делать не умел.

Я работал с моим другом Колей Вечтомовым, Володей Немухиным и Львом Кропивницким. Работая вместе, мы организовали небольшую сплоченную группу и довольно неплохо зарабатывали, особенно к концу года, когда комбинат начал оформлять павильоны ВДНХ.

В Москве царила тогда довольно своеобразная атмосфера. Впервые за много лет власти разрешили издать крошечные сборнички стихов Есенина и Ахматовой, разошедшиеся с невероятной быстротой. Появился "Синтаксис" Алика Гинзбурга, рукописный сборник со стихотворениями Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Беллы Ахмадулиной и Генриха Сапгира, Окуджавы, Бродского и др. За крамолу, правда, Алик заработал два года лагерей, однако, почин Самиздату был сделан. Люди впервые за много лет перестали бояться говорить о прежде запретных вещах, в области живописи появилась даже какая-то видимость "свободы". Писатели, композиторы, ученые, врачи приходили в мастерские художников, участвовали в спорах и обсуждениях, смотрели картины, принимали или отвергали, иногда покупали. Появились первые коллекционеры молодых советских художников – Костаки, знаменитый кардиолог Мясников, фотограф Нутович. Покупали картины и жившие в Москве иностранные дипломаты и журналисты. В ту пору начали покупать картины и у меня.

Мы продолжали жить в лианозовском бараке, а так как телефона у нас не было, то объявили, что устраиваем "приемный день" – воскресенье. Чаще других у нас бывали Генрих Сапгир, Игорь Холин, Коля Вечтомов, Лев, Володя Немухин с женой-художницей Лидой Мастерковой. Вообще приходило много народу, иногда совершенно незнакомого. Писатель-сюрреалист Юрий Мамлеев привел однажды двух девиц, одна из которых называлась Лорик. Блондинка, носившая темные, в пол-лица очки, она всегда была окружена группой молодых людей, называвшихся "мамаськами" и создавших вокруг нее атмосферу обожания. Лорик говорила хрипловатым голосом и называла себя "матерью русской демократии".

Юрий Мамлеев, кажется, преподавал арифметику в младших классах, однако, в Москве был известен как писатель-мистик и основатель группы "сексуальных мистиков". О собраниях этой группы рассказывались самые невероятные вещи. Якобы раздобыв неведомыми путями западные порнографические журналы, участники собраний в соответствии с установками этих журналов занимались самыми изощренными видами половых извращений. Женщины ходили голыми, партнеры менялись, новички были обязаны немедленно включиться в общее действо.

Сгоравший от любопытства Сапгир решил в расчете на небывало-острые ощущения сходить на одну из встреч. Но вместо порнографических журналов он увидел висевшую на стене газету с вклееными репродукциями Дали, посвященную вопросам мистицизма в творчестве Толстого и Достоевского. Члены группы долго спорили на эту тему, а Сапгир, которому стало скучно, заснул. С тех пор он никогда не ходил на заседания группы. Сам Мамлеев словно бы жил в каком-то потустороннем мире. Он верил в загробную жизнь, в чертей, вампиров, говорили, что члены его группы ходили на кладбища, смотрели, как зарывают покойников, иногда сами ложились в гробы, чтобы испытать острые ощущения.

Наши приемные дни имели огромный успех. По узкой дорожке, ведущей от станции к нашему бараку, порою целыми группами шли посетители. В гости не раз приезжали иностранцы. Было дико видеть роскошные лимузины, этакие "голубые сигары", которые и в Москве-то нечасто увидишь, возле темного приземистого барака. Соседи наверняка уже донесли "куда следует". Мы с Валей ужасно боялись неприятностей и со дня на день ждали визита милиции. Однако беда пришла с другой стороны.

Нередко я показывал гостям одну из первых выполненных в новом моем стиле картин, на которой изображалась помойка с номерным знаком восемь. Для меня картина была одной из обычных, гостям она нравилась, но особых эмоций не вызывала. И вдруг, словно гром с ясного неба – появление в "Московском комсомольце" статьи обо мне под названием "Помойка №8". Сначала цитировалось длинное письмо в редакцию от лица некоего разгневанного комсомольца, который писал, что посещая с товарищем мои вечера, он всегда видел жуткие, мрачные, исполненные безысходного отчаяния, картины, и эти картины отрицательно действовали на его состояние. Самое грустное, – подчеркивал автор, – что Рабин в совершенно недопустимом свете рисует нашу социалистическую действительность, а молодежь, приходящая к нему, на все это безобразие смотрит и хвалит. Так пусть же все знают, что подобный художник существует и разлагающе действует на умы советской молодежи. Пора прекратить подобное безобразие!

Имя журналиста было мне неизвестно, а комсомолец, писавший письмо, кажется, действительно, к нам приходил. Журналист же использовал много деталей, которые автору письма не могли быть известны. Статья кончалась призывом прекратить показ подобных картин. За появление такой статьи могли расправиться очень круто – либо выгнать из Комбината, куда я устроился с таким трудом, либо выселить из барака, либо вообще вышвырнуть за пределы Московской области. Примеры осужденного за тунеядство Бродского и отправленного в Сибирь Амальрика стояли перед глазами.

Но ничего не произошло. Жизнь шла своим чередом, на работе никто ничего мне не говорил – очевидно, газета со статьей в Комбинат отправлена не была и прошла незамеченной. Постепенно страхи забылись.

Однако своего отношения к картине "Помойка №8" власти никогда не переменили. Когда в 1978 году я отправлялся в туристическую поездку на Запад (она оказалась поездкой в один конец), я решил с собой взять несколько картин на продажу. Хотел также сравнить их с теми, которые рассчитывал написать в результате заграничных впечатлений. Было разрешено вывезти несколько работ, однако Министерство культуры категорически запротестовало, увидев "Помойку №8": дескать, подобная картина может дискредитировать нашу страну, она рисует ее в исключительно мрачных красках и т. д. Напрасно я доказывал, что "Помойка" много раз репродуцировалась в иностранных газетах и журналах по искусству. Чиновники были несгибаемы. Надо сказать, что тогда впервые меня же за вывоз собственных картин заставили заплатить огромную сумму, чем впервые подтвердили, что "эта ничего не стоящая живопись" все-таки кое-чего да стоит.

В 1961-62 годах в Москве было много иностранных экспозиций. Особенно запомнилась американская национальная выставка. Мы ходили в отдел живописи, где на стендах лежали книги и каталоги по искусству. Украсть такую книгу было довольно сложно, но вырезать нужные страницы иногда удавалось. Помню, как второпях немилосердно ее разрезали, вырывая иллюстрации. Испорченную книгу заменяли, и все начиналось сначала. На американской выставке Лев, пока я его прикрывал, ухитрился стащить том по абстрактному искусству. Он тут же отнес его домой и перефотографировал все иллюстрации, которые раздал друзьям и знакомым.

Я был знаком с Виктором Луи, советским журналистом, работающим в то время для английской газеты (случай единственный в своем роде). Я пожаловался Виктору, что на выставку попасть невозможно, и попросил одолжить на день его журналистский пропуск. "Пропуск можешь взять, – улыбаясь, сказал Луи, – только что вам, художникам, мешает сфабриковать точно такой же? Ведь на то вы и мастера...". Его совет был принят к сведению. Обегав все московские магазины писчебумажных принадлежностей, мы, наконец, нашли школьные тетрадки с точно такой же голубоватой обложкой и, обрезав их по формату, в точности скопировали текст. Таких пропусков мы изготовили пять и теперь со спокойной совестью целые дни проводили на выставке. Так мне удалось посмотреть в спокойной обстановке Раушенберга, Поллака, Ротко. Все рекорды побил Лев, который за раз выпил пятьдесят стаканов бесплатно раздававшейся пепси-колы. Он сделал это из принципа, чтобы доказать, что от этого напитка невозможно отравиться, как утверждала официальная пропаганда.

Не меньше, чем американская, нас заинтересовала французская выставка – там демонстрировалась живопись Пикассо, которого мы до сих пор знали только по его работам в Пушкинском музее, великолепный Манессье, Сулаж, Арп, Леже. Посетил выставку и Никита Хрущев. Рассказывали, что перед картиной Пикассо "Женщина на пляже" он остановился и довольно долго ее разглядывал. Наконец сказал: "Как

можно рисовать подобное безобразие!" В Москве по этому поводу ходил такой анекдот: "Встречается однажды Хрущев с руководителем ЦРУ Алленом Даллесом и спрашивает его: "Скажите, пожалуйста, вам нравится Пикассо". "Нет, – отвечает Даллес, – этот художник совершенно не в моем вкусе". "Ну вот, – разводит руками Хрущев, – тогда объясните, почему из-за этого никто над вами не смеется, а когда я говорю, что мне не нравится "Женщина на пляже", то меня все подымают на смех".

Первого иностранца к нам домой привел поэт Холин. Это была американская журналистка мисс А. М. Холин был предусмотрителен, А. М. оделась скромно, машину оставила далеко от Савеловского вокзала, в поезде все время молчала, и они с Холиным без приключений добрались до Лианозова. Журналистка купила картину, сказала, что ей очень нравится моя живопись, и попросила фотографии работ, чтобы показать друзьям из посольства. А. М. была моей первой покупательницей-иностранкой, хотя, по правде сказать, это не совсем так. До этого две свои картины я продал знаменитому коллекционеру греку Георгию Дионисовичу Костаки, который работал в канадском посольстве и всю жизнь жил в России. Он был женат на советской, и русский был его родным языком. Так что мы его не боялись и за иностранца почти не считали. Приехав в Лианозово, Костаки выбрал две картины и спросил, сколько они стоят. Я сильно смутился и, наконец, выдавил из себя: "Пятьдесят рублей..." Потом торопливо добавил: "Если для вас дорого, то я готов уменьшить цену вдвое". Он ответил: "Ваши картины, дорогой мой, стоят гораздо дороже. Я не очень богат, но дам вам по сто рублей за каждую". Я был очень доволен и тут же подарил ему третью картину. Ведь находиться в коллекции Костаки было честью. Он собирал двадцатые годы, и в его квартире висели Кандинский, Малевич, ранний Шагал, замечательные работы Поповой. Были там и старинные иконы. Некоторые полотна за неимением места были подвешены к потолку. Перед отъездом в Грецию, где Георгий Дионисович живет в настоящее время, он часть коллекции пожертвовал Третьяковской галерее, однако, насколько мне известно, ничего из подаренного им до сих пор выставлено не было.

Благодаря Костаки, я уже смело, не колеблясь, назвал американской журналистке цену – сто рублей за картину. Журналистка казалась очень довольной, выбрала еще одну работу и сказала, что приедет за ней в следующий раз. Больше я ее никогда не видел. Оказалось, что ободренная успехом первой поездки, она во второй раз оставила свою большую белую машину совсем недалеко от вокзала. Ей с Холиным дали возможность сесть в поезд, позволили доехать до станции, за которую ехать иностранцам запрещалось, затем задержали и потребовали вернуться в Москву. Мы с Валей очень беспокоились. Проходил час за часом... Никого нет. Напрасно мы себя уговаривали, что журналистка – женщина занятая, что наверняка ее задержали срочные дела. Однако, чувствовали, что дело совсем в другом.

Что касается Холина, то ему позволили сесть в машину журналистки, и она довезла его до дому. Как только она уехала, его задержали. Его допрашивали до самого вечера и потом отпустили. Прошло несколько дней. Решив, что все обошлось, я повез к Холину выбранную журналисткой вторую работу, и он по телефону договорился с А.М., что мы будем ждать ее в скверике возле Большого театра. Мы медленно прохаживались с Игорем по аллее, как вдруг к нам приблизились два субъекта в одинаковых серых плащах и с одинаковыми безликими физиономиями, схватили Игоря под руки и потащили к выходу, где возле скверика стояла черная "Волга". Очевидно, Холин спрашивал, на каком основании его забирают, потому что субъекты показывали ему какие-то документы. Наконец, машина рванулась с места и исчезла. Прошло еще полчаса. А. М. не пришла. На другой день я позвонил Холину и очень обрадовался, услышав голос Игоря. Он рассказал, что его привезли в отделение милиции, где вновь несколько часов допрашивали – обо мне, о его отношениях с американской журналисткой, о моих друзьях и знакомых. Ему говорили, что иностранцы только для вида интересуются стихами и картинами, на самом же деле все они шпионы. Под конец сказали, что если дальше он будет якшаться с иностранцами, то лагеря ему не миновать.

Лианозовская милиция взяла нас на заметку. Самих нас в отделение не вызывали, однако, наших соседей расспрашивали. Однажды в дверь постучали. Открывать, как всегда, пошел я, потому что к соседке обычно никто не приходил. Передо мной стоял незнакомый человек, который спросил соседку, но когда она вышла, по выражению ее лица я понял, что посетитель ей был незнаком. Они прошли в ее комнату и разговаривали приблизительно полчаса. Когда она провожала незнакомца до дверей, лицо у нее горело. Как-то позже она нам сказала, что ее просили информировать органы обо всем, что у нас происходит: кто к нам ходит, особенно из иностранцев, о чем говорят, что делают... Не знаю, согласилась ли она быть осведомителем, однако, с тех пор в нашу комнату ни разу не заглянула. Уже перед самым нашим переездом в Москву соседка, явно волнуясь, сказала, что при удобном случае все нам расскажет, однако, такого случая не представилось.

Приблизительно в это самое время произошла знаменитая история в Манеже. В 1962 году по случаю 30-й годовщины МОСХа решили устроить там выставку художников, произведения которых до сих пор не выставлялись и находились только в запасниках. Речь, конечно, не шла о супрематистах и конструктивистах 20-х годов типа Кандинского или Малевича. Для художников это было очень важным событием, молодые из левого крыла МОСХа решили, что времена переменились, что настала пора дать бой сталинистам-ретроградам. Такие художники, как Андронов, Никонов, Васнецов и Жилинский стремились доказать это на примере собственного творчества.

На выставке в Манеже выставлялись, как правило, лишь полотна членов Союза художников. На сей раз сделали исключение для худож-

ника Белютина и его учеников. Поразительно, что, не будучи членом Союза, он сумел создать свою школу, имел горячих приверженцев и добился в работах учеников единого стиля: все они писали в абстрактной

О Белютине ходили самые невероятные истории, и он, как говорили, нередко сам же их сочинял. Рассказывали, что его ночью на Красной площади сажали в машину, отвозили в Кремль, подземными коридорами вели в роскошные кабинеты, где он до утра пьянствовал в компании Хрущева и Кастро. Что тут было правдой, а что нет, понять было трудно. Во всяком случае, Белютин обладал запоминающейся внешностью, был богат и собрал отличную коллекцию икон и старины. Безусловно, он использовал все свои связи для того, чтобы выставиться в Манеже с учениками. Таким образом, он стремился дать своей школе вполне официальный статус.

Чиновники от искусства, которые его ненавидели, решили воспользоваться моментом, чтобы отомстить выскочке. Для Белютина и его школы, а также для работ Эрнста Неизвестного отвели залы на втором этаже, закрытые для широкой публики, но открытые для начальства. Туда и привели Хрущева. Гнев главы Советского государства при виде "бездарной мазни" излился в потоке ругани. Художники, бледные и растерянные, молча стояли перед ним. Единственным, кто осмелился возражать, был Неизвестный. В тех условиях для подобного поведения требовалось мужество. А сталинисты из правления МОСХа ликовали. Было создано срочное заседание, на котором от Эрнста потребовали раскаяния. Вытащили на свет какую-то старую историю, что он-де где-то когда-то в пьяном виде кого-то побил. Дело пахло судом. Однако, принимая во внимание известность скульптора, ограничились лишением заказов и условным исключением из МОСХа на год. На Хрущева же смелое поведение скульптора произвело хорошее впечатление. Впоследствии он с сожалением вспоминал о своей выходке. После смерти Хрущева его семья заказала надгробный памятник именно Неизвестному.

Неожиданной жертвой скандала в Манеже оказался Евгений Леонидович Кропивницкий, произведения которого даже не были выставлены в Манеже. Будучи с давних времен членом МОСХа, он никогда и нигде своих работ не выставлял. В период хрущевской оттепели друзья настойчиво ему советовали в МОСХе организовать его персональную выставку. МОСХ согласился. Евгений Леонидович отобрал вещи наиболее декоративного плана – ню, силуэты, несколько абстрактных работ. Были пригласительные билеты и даже напечатали маленький каталог с портретом. Однако после хрущевского выступления в Манеже атмосфера резко изменилась. Кропивницкий вместе с Неизвестным был вызван на заседание специальной комиссии, где от него также потребовали осудить собственные работы. Евгений Леонидович категорически отказался, после чего его тут же исключили из МОСХа.

До самой своей смерти в возрасте 85-и лет Евгений Леонидович не оставлял занятий поэзией, живописью и музыкой. Его картины никогда

не выставлялись, стихи никогда не издавались, последние годы жизни он жил на пенсию учителя рисования – сорок рублей в месяц, в маленькой комнатенке без удобств – без воды, без уборной, с дровяным отоплением. Лев снял ему двухкомнатную квартиру. Когда он заболел, Лев взял его к себе. О смерти Евгения Леонидовича нам сообщили по телефону в Париж, когда мы уже навсегда покинули Советский Союз.

ВСЕ ЕЩЕ В ЛИАНОЗОВО

Ничего не изменилось в нашем поселке – ни унылые бараки, ни дороги, грязные весной и заметенные снегом зимой, ни пригородный лианозовский вокзальчик. Однако, нам жить стало легче. Дети подросли и пошли в школу, у меня была постоянная работа, милиция к нам не привязывалась. В 1963 году нам повезло: при планировке будущей "большой Москвы" в нее включили много пригородных районов, куда вошло и Лианозово. Благодаря этому поселок стал открытым для иностранцев, мы получили московскую прописку, и наша постоянная мечта переехать в город стала более реальной.

Иностранцы приезжали к нам все чаще, многие покупали мои картины. Однажды Виктор Луи привез к нам Эрика Эсторика, известного коллекционера и владельца большой лондонской галереи "Гросвеноргалери". Он приехал в Советский Союз, чтобы ознакомиться с советским художественным рынком, и покупал в Союзе художников те картины, которые мог, по его мнению, перепродать на Западе.

Эсторик приезжал ко мне несколько раз и купил много работ для моей персональной выставки в его галерее. Я верил и не верил его обещаниям, однако в 1965 году он устроил мою выставку. Каждый художник, впервые выставляющий картины, испытывает одновременно и чувство радости, и чувство страха. Меня же мучал не обычный в таких случаях страх молодого художника, впервые показавшего себя на публике, а человеческий страх – "что-то скажет начальство?".

Мы для себя тоже устроили вернисаж. Отобрали с Валей фотографии проданных Эсторику картин – дрянных, любительских фотографий – разложили на полу и, расхаживая по комнате, воображали, что находимся в лондонской "Гросвеноргалери".

Выставка ни для кого не была секретом, потому что о ней передавало Би-Би-Си. Через некоторое время я получил каталог, а также газеты и журналы со статьями о выставке. Статья в коммунистической "Дейли уоркер" нас с Валей очень ободрила. Критик меня хвалил и выражал надежду на продолжение плодотворного культурного обмена между СССР и Западом. И мы робко понадеялись тогда на то, что авось все вдруг и обойдется... Казалось, власти никак не отреагировали на это событие.

Говорят, что аппетит приходит во время еды. Я писал теперь, что хотел, и неплохо зарабатывал, постепенно сбывалось то, о чем мечтал. Однако, теперь, как никогда раньше, мне было обидно работать тайком,

видеть, как мои картины уходят, почти не оставляя следа – либо отправляются за границу, либо оседают в коллекциях любителей живописи. Хотелось, чтобы они выставлялись, чтобы люди их видели, обсуждали, чтобы появилась какая-нибудь реакция публики и прессы. Я готов был к самой суровой критике – только не это мертвое молчание, глушь, ощущение тупика.

В то время в Москве проходили многочисленные выставки неофициальных художников в институтах Капицы, Курчатова, в Доме Архитектора – выставки закрытые, организованные специально лишь для работников института. Меня в них участвовать не приглашали, так как обо мне уже писали в советской газете отрицательно, и устроители боялись, как бы из-за моих картин не запретили выставлять остальные. Сотрудники института Капицы ко мне приходили, хвалили, колебались и, в конце концов, отказывались. Я их понимал и не обижался.

Устраивались выставки и на частных квартирах. Одним из первых, от кого вообще пошла эта мода, был пианист Святослав Рихтер. Он устроил выставку картин Дмитрия Краснопевцева, художника, работавшего уединенно и замкнуто в комнатке, заполненной раковинами, старинными вазами и древними окаменелостями, которые он изображал на своих холодноватых, четких, чистых картинах. У Рихтера они висели в огромной гостиной. Композитор Волконский устроил на своей квартире выставку картин Евгения Леонидовича.

В 1965 году мне удалось купить кооперативную квартиру. Обменять нашу комнату на комнату в Москве было немыслимо: ни один москвич в Лианозово бы не поехал. Получить квартиру от государства мы тоже не могли – после смерти бабушки у нас оказался излишек площади.

И я купил трехкомнатную квартиру площадью 59 квадратных метров за 5600 рублей.

Когда мы переехали в Москву, Саша учился в пятом классе. К восемнадцати годам его забрали в армию. Не прослужив и двух месяцев, он сильно простудился, получил осложнение на почки и вскоре был от службы освобожден. Приблизительно в это время он начал по-настоящему, всерьез заниматься живописью. Царившая в доме атмосфера художественных интересов захватила и его. Саша брал уроки рисунка, ходил в мастерские наших друзей-живописцев, наблюдал за их работой, и, следуя их советам, много рисовал сам. Мало-помалу у него выработался свой стиль.

Катя благополучно закончила десятилетку, однако в университет по конкурсу не прошла и временно нанялась уборщицей в Музей изящных искусств имени Пушкина. Мыть полы возле полотен Матисса или Пикассо ей нравилось больше, чем заниматься разборкой бумаг в скучной конторе. Вскоре она вышла замуж, родила сына и целиком ушла в домашние заботы и хлопоты.

ПРЕОБРАЖЕНКА

После лианозовского барака трехкомнатная квартира в Москве показалась царскими палатами. Мы переехали весной 1965 года.

Преображенка – старинный район Москвы, где при Петре Первом размещался знаменитый Преображенский полк. К шестьдесят пятому году там сохранилось еще много старинных узких улочек, деревянных домов и – три действующих церкви. В самой большой из них служил тогда о. Дмитрий Дудко, проповеди которого собирали массу верующих. С о. Дмитрием мне довелось встречаться впоследствии несколько раз.

От старинного монастыря, бывшего в прошлом центром всего квартала, остались куски крепостной стены и две угловых башни. На его месте сейчас находится Преображенский рынок. Славился рынок барахолкой, где продавалось все, начиная с ворованных на фабрике чулок и кончая снятой с себя последней рубашкой, когда не хватало денег на поллитровку. Толкучка гудела с утра до ночи, милиционеры разгоняли толпу, но люди, уходя с одного места, тут же появлялись в другом.

Я очень любил свой квартал и не перестал его любить, когда он резко, на глазах, стал меняться – исчезли сумрачные старые дома, их заменили унылые, стандартные постройки, недалеко от рынка появилось метро, рядом – большой гастроном и универмаг. Но рынок оставался и церкви тоже.

Володя Немухин и Лида Мастеркова однажды пригласили нас провести лето в деревне Прилуки на Оке. Тогда я еще работал на комбинате, но решил плюнуть на все, не работать весь отпуск ради лишней копейки, а отдохнуть, наконец, по-человечески. Катю с Сашкой отправили в пионерский лагерь, а сами уехали в деревню.

Там у Володи был именно дом, а не изба – большой, двухэтажный, на каменном фундаменте. Его построил еще володин дед, который до революции торговал мясом и был одним из самых зажиточных крестьян этой деревни. До революции Прилуки были вообще богатым торговым селом. Крестьяне откармливали скот, и почти у каждого была в Москве мясная лавка. На берегу Оки стояли добротные дома, иногда с верандами. После революции наиболее богатых раскулачили. Хозяйство захирело и заглохло, окна в домах крест-накрест заколотили досками и вскоре продали москвичам, которые приезжали сюда на лето.

Володе удалось свой дом сохранить, он пристроил к нему террасу, которую превратил в мастерскую, и теперь мы могли работать, не мешая друг другу. Мы купались в реке и загорали на пляже, собирали грибы и по ночам при лунном свете разжигали костер, у которого до утра спорили, болтали и читали стихи. И все мы много работали – Володя рисовал уже в это время свои композиции с картами, Лида – абстрактные работы, Валя рисовала фантастические пейзажи, я рисовал все, что видел – избы, цветы...

Потом мы каждое лето ездили в Прилуки, снимая комнату у одной

местной жительницы. Дети, которым совершенно не нравился пионерский лагерь, жили с нами. Я мечтал купить в деревне дом, пусть даже самую жалкую развалюху. Но это было невозможно, потому что тогда я еще мало зарабатывал. Избу в деревне удалось купить гораздо позже, в деревне Софронцево Вологодской области.

ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ

Приблизительно в это время я встретился с человеком, который сыграл очень большую роль в моей жизни – с Сашей Глезером. Однажды декабрьским вечером 1966 года в дверь позвонили. Мы с Валей никого не ждали, но привыкли, что часто кто-нибудь заходил на огонек – посидеть, поболтать. В дверях стоял молодой человек небольшого роста с обычным, незапоминающимся лицом, одетый в демисезонное, не по погоде пальто. Я пригласил его зайти. Разговорились. Он сказал, что видел мою картину "Барак" у литературоведа Пинского и что она ему очень понравилась. Попросил, чтобы я показал другие работы и вдруг объявил, что хочет организовать мою персональную выставку в клубе "Дружба". Там он вел клуб "Наш календарь", посвященный литературе и искусству, организовывал вечера поэтов, писателей и художников. Это была общественная работа.

Саша – по образованию инженер-нефтяник – работал раньше в одном из НИИ, находившихся на Шоссе Энтузиастов. Клуб "Дружба" располагался неподалеку. На вечера приглашались "звезды" первой величины, такие, к примеру, как Андрей Вознесенский, Илья Эренбург, Эрнст Неизвестный. В то время Синявскому с Голомштоком удалось напечатать небольшую статью с положительным отзывом на живопись Пикассо. Глезер раздобыл репродукции и устроил в своем клубе выставку репродукций Пикассо. Обсуждения таких выставок бывали, как правило, очень бурными и привлекали массу народа.

Ко времени нашего знакомства Саша ушел из НИИ и целиком посвятил себя литературе (он занимался переводами стихов с грузинского на русский). Из клуба, под тем предлогом, что он больше не работает в НИИ, начальство решило его "убрать", и года два Саша там не появлялся. Однако директору клуба Лидскому явно не хватало многолюдных, имевших большой успех вечеров. Поэтому, встретив в 1966 году Глезера случайно на улице, он предложил ему вновь организовать какой-нибудь вечер. Мои картины как раз и натолкнули Сашу на идею сделать вместо вечера персональную выставку Оскара Рабина.

Я стал объяснять, что ничего путного из этой затеи получиться не может, рассказал обо всех неприятностях, которые у меня были. Но он не хотел ничего слушать. Страшно активный, до краев переполненный энергией, Саша рвался в бой. И вполне возможно, что отсутствие ясного понимания той опасности, которая ему грозила, позволило добиться того, где другой наверняка бы потерпел поражение. Эта выставка стала

для Саши Глезера началом новой деятельности, которая продолжается и по сей день. Я подумал, что терять нечего, "была не была", и согласился.

После долгих споров и обсуждений мы решили выставить в клубе картины двенадцати художников, чтобы более или менее полно представить тенденции, существующие в неофицильной живописи. В число выставлявшихся, не считая меня и семьи Кропивницких, входили Володя Немухин, Лида Мастеркова, Коля Вечтомов, Толя Зверев, Дима Плавинский, Эдуард Штейнберг и Валентин Воробьев. Эдакое боевое коммандо под предводительством Глезера. Что касается стратегии, то планировали по мере возможности избежать боя. Вернисаж назначили на воскресенье, чтобы свести до минимума вмешательство начальства. Мы надеялись, что чиновники из райкома и Министерства культуры разъедутся на дачи, а мелкая сошка вряд ли по своей инициативе решится закрыть выставку. Если все обойдется, то она просуществует хотя бы несколько дней. Если же нет, то и одного воскресенья вполне достаточно.

Саше удалось обмануть бдительность цензоров и залитовать пригласительные билеты. В них одновременно с выставкой объявлялось о поэтическом вечере поэта Голубева во вторник 24 января, после чего должно было состояться обсуждение живописи. О какой живописи шла речь, в приглашении не упоминалось. На первой страничке пригласительного билета помещался портрет поэта, указывалась дата – 24 января и программа, а вторая страничка оставалась пустой. В Главлите, ничего не подозревая, поставили печать, а потом на пустой страничке знакомые машинистки впечатали наши фамилии и указали дату и час вернисажа – 22 января, с пяти до восьми.

Мы отдавали себе отчет в том, что делаем, но считали, что цель оправдывает средства. Накануне, в субботу вечером был сильный мороз – кажется, 25 градусов ниже нуля. Наняли шофера-левака с грузовичком и перевезли в клуб картины. Там, в кабинете директора, их нераспакованными и сложили с тем, чтобы назавтра, до прихода зрителей, сделать развеску. В любом, самом худшем случае, – если выставку закроют, едва она откроется, мы хотели, чтобы хоть кто-нибудь ее увидел, и поэтому попросили друзей прийти на часок пораньше.

В воскресенье утром мы все, двенадцать художников, уже были на месте. Прежде всего надо было очистить зал, увешанный плакатами и лозунгами, с бюстом Ленина посредине. Как-то не вязались наши картины с Лениным и его призывами. Распаковав картины, расставили их на полу вдоль стен, чтобы прикинуть, куда какую повесить. В этот момент в зал вошел директор клуба. Краем глаза взглянув на картины, он тут же выбежал вон. Это ничего доброго не предвещало, но мы решили – будь что будет – продолжать развеску. А Лидский уже звонил Глезеру, чтобы тот немедленно приехал и убрал эти крамольные картины. Потом директор вернулся в зал и вежливо попросил нас забрать холсты и уйти из клуба. Мы отказались. Если решение об открытии

выставки было принято вместе с Глезером, то пусть и закрывают ее вместе с Глезером. Кстати говоря, мы предвидели подобную реакцию директора и накануне спросили у Саши, что он в таком случае намеревается делать. Глезер ответил, что если директор станет ерепениться, то он просто его свяжет и запрет в кабинете до конца вернисажа. "Но ведь это гангстеризм, Саша", – заметил я. "Ну и что же, – ответил он, – зато выставка состоится".

Примчался на такси Глезер, в зал вошла какая-то женщина, которая оказалась секретарем парторганизации НИИ, и втроем вместе с Лидским они стали смотреть картины. Секретарь парторганизации нам, кстати, помогла. Она сказала, что некоторые вещи следовало бы, правда, убрать, однако, в остальных она ничего страшного не видит. Ну, посмотрят люди и спокойно разойдутся. Глезер припомнил директору все свои заслуги перед клубом, вызвал в директорской памяти былую славу этого учреждения и заверил, что выставка не повредит ему, а только поможет. И, наконец, Лидский смягчился. В сущности, он был неплохим человеком, но очень тщеславным. Ему льстило внимание знаменитостей. И когда в зале появился Евтушенко, он совершенно растаял.

Час открытия еще не наступил, но зал был уже битком набит. Я заметил жену американского посла госпожу Томсон, которая с трудом протискивалась сквозь толпу, чтобы получше рассмотреть картины.

Ко мне подошел Глезер и сказал, что на выставку прибыло большое начальство. Они о чем-то поговорили с директором и заперлись с ним в кабинете. Кинулись к Евтушенко и Слуцкому. Оба тут же отправились к Лидскому. В кабинет их впустили, но разговаривать не стали. Просто заявили, что выставка эта провокационная и должна быть немедленно закрыта.

Через некоторое время вызвали Сашу и меня. В кабинете находились майор КГБ и двое в штатском – инструктор отдела культуры горкома по изобразительному искусству Абакумов и заместитель заведующего этим же отделом Пасечников. Абакумов, тощий, желчный и нервный мужчина кричал так, что изо рта брызгала слюна: "Пусть кто-нибудь из художников объявит, что осмотр выставки на сегодня окончен! Послезавтра, как и намечалось, состоится публичное обсуждение, дискуссия по поводу картин!.."

Я сказал: "Вы хотите, чтобы я сам закрыл выставку. Нет уж! Мы, художники, пишем картины, а выставки закрывать – ваше дело."

А в зал непрерывным потоком шел народ. Неожиданно потух свет. Раздался смех и свистки. Свет зажегся вновь. Перед публикой появился директор, осунувшийся, с измученным, постаревшим лицом. Дрожащим голосом он попросил собравшихся разойтись, так как помещение срочно требуется для демонстрации фильма. "Вы не думайте, что выставка закрывается, – заверил он. – Ее продолжат завтра, и все желающие смогут посмотреть ее в спокойной обстановке". "Держи карман пошире!

Дадут они тебе вторник!" – крикнул кто-то. Люди были недовольны, однако направились к выходу. Вскоре зал опустел.

Наутро, подъезжая к клубу, мы увидели возле здания толпу. Клуб был оцеплен дружинниками. Подошли поближе и слышим, как стоящий возле запертой двери человек говорил: "Да о чем вы говорите? Никакой выставки не было и нет. Вы чего-то перепутали!" Когда мы вошли в клуб, он был в точности таким, как перед выставкой – посредине возвышался бюст Ленина, всюду висели плакаты и лозунги, и лишь кое-где болтавшиеся на стенах обрывки веревок свидетельствовали, что картины здесь все-таки были.

В кабинете за письменным столом Лидского восседала неопределенного возраста женщина с жестким лицом и крепко сжатыми губами – секретарь парторганизации завода, которому принадлежал клуб "Дружба". "Идите в соседнюю комнату, где стоят опечатанными ваши картины, и ждите!" – приказала она. Мы вошли в комнату, где картины стояли вдоль стен, аккуратно сложенные и запакованные. И тут же дверь распахнулась и в комнату ворвалось человек двадцать молодчиков. Лица у всех каменные, в глазах – злоба. Один из них, гораздо старше остальных, очевидно, тоже начальник, подошел ко мне: "Это вы у них ответственный?" "А кто, собственно говоря, вы такой? "– возразил я. "Не собираюсь с вами связываться по этому поводу! – сказал он. – Забирайте сию секунду ваши картины и убирайтесь отсюда!" Молодчики загалдели: "Да-да, пусть катятся отсюда, да поскорее!"

Наконец, после бесконечных споров объявили, что мы можем отправляться с картинами домой. Мы картины взяли и направились к выходу, но дорогу перегородили те же дюжие молодчики. Они указали на запасной выход, который вел во двор. Там нас уже ждали два крытых грузовика. Очевидно, начальство боялось, что на улице нас станут фотографировать иностранные корреспонденты, и мы можем поднять скандал. Картины погрузили в грузовики, молодцы услужливо подсадили нас, старший, приветливо улыбаясь, повторял: "Ничего-ничего! В общем-то вы все неплохие ребята, только сечь вас некому". Каждого подвезли к самому подъезду и отнесли картины в квартиры. Возле моего дома произошла заминка: из-за узкой дороги грузовик к дому подъехать не мог. Я предложил, чтобы картины выгрузили на месте, а дальше, мол, я сам донесу. Однако, мои спутники категорически отказались и собственноручно донесли груз.

В разразившемся скандале начальство обвиняло нас и Глезера. Ему внушали, что он является слепым орудие ЦРУ, что он организовал идеологическую диверсию, что подобные выставки на руку западным средствам информации, которые поднимут вой по поводу того, что в СССР закрываются выставки художников. Глезеру грозили, что лишат работы и не дадут печататься, если он не перестанет якшаться с Рабиным. А Рабин ведь известно кто, и ясно, под чью дудку пляшет!

Начальство так и не поняло, что истинным виновником скандала было оно само. Не закрылась бы выставка, не было бы никакого шума

вокруг нее. А теперь, конечно же, иностранные корреспонденты сообщили своим агентствам о случившемся. В Москве только и было разговору, что о сорванной выставке, о нас передавали Би-Би-Си и другие западные радиостанции. Мы становились несправедливо гонимыми жертвами. Кстати, в будущем все повторилось: мы снова устраивали выставки, начальство снова со скандалом их закрывало. Получался какой-то заколдованный круг.

От дальнейшего развития событий ничего хорошего ждать не приходилось. На комбинате немедленно созвали партсобрание для рассмотрения личных дел Рабина, Кропивницкого и Вечтомова. Когда мы спросили, почему нас, беспартийных, разбирает партсобрание, нам объяснили, что наша выставка носила идеологический характер, вызвала недопустимую реакцию за границей и поэтому выходит за рамки обычных дел. Во всяком случае, парторганизация не может обойти молчанием этот факт.

Моя ситуация осложнилась появлением в газете "Советская культура" статьи, которая называлась "Дорогая цена чечевичной похлебки". Так власти, наконец, отреагировали на состоявшуюся в Лондоне год назад выставку. Если исходить из написанного, то автор статьи, искусствовед Ольшевский вообще ни разу в жизни не видал ни одной моей работы. Сведения он почерпнул из каталога лондонской выставки. Мои картины назывались в статье бредом сумасшедшего, сам я – продавшимся зарубежным хозяевам, которые используют мою живопись в качестве антисоветской пропаганды. Когда я стану не нужен, меня выкинут, как выжатый лимон. В заключение Ольшевский выразил неожиданное пожелание, чтобы я нашел в себе силы стать настоящим советским художником, ибо обладаю для этого достаточным талантом. Один из моих друзей, лично знавший Ольшевского, сказал мне, что в общем-то он человек порядочный, но что в данном случае просто вынужден был подчиниться приказу. Статья Ольшевского также должна была обсуждаться на собрании.

Дирекция комбината ломала голову над тем, как выйти из создавшегося положения. Из-за этой проклятой выставки на них тоже ложилось пятно. Руководителей обвиняли в отсутствии бдительности и политико-воспитательной работы, в том, что работники совершенно уходят из-под партийного контроля. Накануне собрания меня, Льва и Колю обрабатывали в соответствующем духе. Прежде всего нас вынуждали покаяться и признать свои ошибки. Мы отмалчивались. Затем наш новый директор, не тот, который принимал меня на работу, – они у нас часто менялись – вызвал меня к себе. Он сообщил, что во всей этой истории зачинщиком являюсь я и поэтому меня немедленно уволят. Если я уйду с работы по собственному желанию, то и мои друзья последуют моему примеру, и тогда все образуется само собой. В таком случае он, директор, обещает дать мне хорошую характеристику. Я отказался. Директор побагровел. "Если не уйдете вы, – закричал он, – то уйду

я!" Было совершенно непонятно, почему он закатил такую истерику, когда проще всего было бы просто-напросто вышвырнуть нас всех из комбината.

Все прояснилось, когда во время последней "проработочной" беседы парторг проговорился, что сверху пришло предписание ни в коем случае нас с работы не выгонять. Человек неглупый и проницательный, парторг трезво изложил сложившуюся ситуацию: "В конечном итоге, — сказал он, — мы все находимся на одном корабле. Я понимаю, что вам трудно отказаться от ваших принципов. Но ведь и у нас из-за вас большие неприятности. А мы ко всей этой истории вообще не имеем отношения". Он говорил спокойно и доброжелательно. Мы сказали, что тем более не хотим никакого скандала и сделаем все, чтобы его избежать. Как бы то ни было, следовало подготовиться к партсобранию.

Мне в первую очередь, наверняка, придется отвечать на обвинения, выдвинутые Ольшевским. Мы с Валей долго репетировали сцену будущего собрания. Валя, с "Советской культурой" в руках, задавала вопросы. Я по мере сил и возможностей отвечал. Должен сказать, что на собрании эта "репетиция" здорово помогла.

Начавшись в 5 часов вечера, собрание, включая десятиминутный перерыв, закончилась только в 11. Большой зал был набит битком. В первом ряду сидели члены худсовета, известные, солидные, заслуженные художники, которым велели выразить свое отношение к нашим картинам. За столом в президиуме находились представители из отдела культуры МК и руководители нашей парторганизации.

У дверей стояли два здоровенных парня, которые проверяли документы. Впереди шел я с картинами, за мной — Лев и рядом с ним Коля Вечтомов. Стараясь быть как можно незаметней, между нами проскользнул Саша Глезер. Секунду поколебавшись, парни все-таки его пропустили.

В соответствии с регламентом сначала должно было состояться обсуждение картин. Потом выступаем мы и отвечаем на вопросы. Парторг, который вел собрание, вдруг заметил Сашу и велел ему выйти. Тут я поднялся и сказал, что поскольку именно Глезер является организатором выставки на Шоссе Энтузиастов, то ему и карты в руки: то есть он сумеет все объяснить гораздо лучше нас. Члены худсовета, жаждавшие услышать подробности облетевшего всю Москву скандала, стали на сторону Глезера, и ему разрешили остаться. Шум стих. Глезеру первому предоставили слово.

Когда мы вырабатывали общую линию поведения, то решили, что Саша, если ему дадут говорить, должен выступать как можно дольше, чтобы затянуть время. И Саша, что называется, показал высший класс. Он начала издалека, с самого детства. Рассказал о художественном воспитании в обычной советской семье, где ознакомление с живописью не шло дальше картин Шишкина. Потом поведал о первом знакомстве с творчеством Пикассо, а затем о дальнейшем увлечении современной

живописью. Зал заинтересованно слушал. Однако председатель, понимая, что происходит что-то не то, явно нервничал: "Покороче!" – приказал он. Саша невозмутимо продолжал, затем привел цитату из книги Роже Гароди "Реализм без берегов". Вдруг его раздраженно прервал представитель из МК: "Откуда вы достали книжку, которая не издавалась в Советском Союзе?" "Я отлично понимаю, куда вы клоните, – ответил Глезер. – Вам известно, что эта книга издана ограниченным тиражом специально для работников партии, вроде вас. Но так уж получилось, что один экземпляр очутился у меня. Но каким путем он ко мне попал, я вам, конечно, не скажу". Это было слишком! Председатель объявил, что докладчику нечего больше прибавить к сказанному и попросил его покинуть зал.

Мне предстояло первому делать интерпретацию собственных картин. Одну из них – "Улицу Пресвятой Богородицы" – объяснять было особенно трудно. Это городской пейзаж с двумя тускло освещенными на переднем плане старомодными номерными знаками в виде полукруглых крашеных жестянок. На них указано название улицы и номер дома. На той, которая побольше, изображена Богородица с младенцем Иисусом и адрес: "Улица Пресвятой Богородицы, дом №8" (восьмым был номер нашего собственного дома). На меньшей нарисован Христос в терновом венце, над которым виднелась надпись: "Тупик №2 имени И. И. Христа".

Я объяснил, что нарисовал так из чувства уважения к прошлому нашей родины, которая во все предшествующие века была страной глубоко христианской. Меня всегда удивляло, что в Москве, к примеру, не называют улицы в честь святых, как это принято во многих городах Запада. Я просто решил восстановить добрую старую традицию. А в названии "Тупик №2" подразумевалось, что идеи самые различные – философские, политические или религиозные – в своем развитии нередко заходят в тупик. Затем возрождаются и развиваются лишь для того, чтобы снова попасть в тупик №2 или №3 или №4 и т.д. Все проходит и все возникает вновь.

Не стану рассказывать, сколько споров и возражений вызвала эта вещь. Мои объяснения никого, конечно, не убедили. Один за другим выступали докладчики и ругали ее на чем свет стоит. Добавлю только, что через двенадцать лет, когда мне пришлось уезжать из СССР на Запад, взять эту картину с собой мне не разрешили.

Прилукский пейзаж с изображением ранней пасмурной весны, стынущих луж и ощипанной замороженной курицы на переднем плане мне казалось объяснять излишним. Где же еще и должны быть куры, как не в деревне.

"Это вовсе не так, – возразили мне. – Вы думаете, что нарисовали просто курицу, а на самом деле от картины исходит ощущение ужаса, смерти и отчаяния. Мрачный колорит вызывает у зрителя отрицательное отношение к нашей жизни и неприятие социалистической действительности".

За совершенно невинный пейзаж с рядами современных блочных домов на переднем плане и букетом цветов у керосиновой лампы меня обвинили в прославлении старого, уходящего и отживающего и в пренебрежении к новым светлым сторонам нашей действительности. Керосиновая лампа написана, мол, тепло и душевно, а современные дома – холодно и отчужденно. Я отбивался, как мог. Доказывал, что мне отлично живется с блочном доме, в квартире со всеми удобствами. Просто огромные комплексы современных зданий выглядят довольно уныло и не располагают к идиллическим размышлениям. Но ведь современная архитектура во всем мире одинакова!

Работы Льва, который писал в то время серию картин с головами быков и "космическую" серию, а также колины полуабстрактные холсты обсудили примерно так же. Затем парторг прочел статью "Дорогая цена чечевичной похлебки", осудил парторганизацию и себя за то, что не приняли никаих мер, когда статья появилась, и попросил задавать нам вопросы. Меня тут же спросили, каким путем мои картины попали на Запад и сколько я за них получил денег.

Я отвечал: "Разве может, – начал я, – уважающий себя искусствовед судить о картинах, в данном случае о моих, никогда их не видя и имея перед собой лишь каталог с черно-белыми репродукциями? И еще: я никогда не отправлял картины за границу, а продавал их частному лицу. Что уже этот человек потом с ними делал, меня не касается. За картины мне всегда платили в рублях, а вовсе не валютой, как это утверждается в статье. Что же касается имен покупателей, то я их вам не скажу. Надеюсь, что нахожусь не на судебном процессе."

Вопросы летели ко мне, как теннисные мячи, и задававшие их напряженно следили за тем, отобью я их или промажу. Итак, почему я рисую бараки и унылые блочные дома? Почему наша советская действительность представляется мне в таком мрачном свете? Почему я не передаю в картинах наши замечательные достижения?

"Смысл вопросов как-то от меня ускользает, – сказал я. – У нас, если я не ошибаюсь, всячески превозносится и поощряется реализм. А ведь моя живопись как раз реалистична. Я рисую то, что вижу. Я жил в бараке, многие советские граждане тоже жили в бараках, да и теперь живут. И я рисую бараки. Почему это плохо? Сейчас я переехал в блочный дом и рисую кварталы блочных домов, которые меня окружают. Меня упрекают за натюрморты, за водочные бутылки и лежащую на газете селедку. Но разве вы никогда не пили водку и не закусывали селедкой? На всех праздниках, и официальных в том числе, водку пьют, и ничего с этим не поделаешь. За границей, к тому же, нашу водку хвалят, и мы этим гордимся. Да и вообще – пьют у нас много. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Это сама жизнь. Надо ли бояться жизни? Автор статьи считает, что и дома, в которых мы живем, и селедка, которую мы едим, и водка, которую мы пьем, и цветы, которые мы любим – то есть все, что фигурирует в моих картинах, – является "омерзительными клиническими отбросами". У него получается, что, покупая карти-

ны официальных художников, Эсторик проявил хороший вкус, а организуя мою выставку, стал политическим спекулянтом. Благожелательная критика в западной прессе – всего-навсего антисоветский маневр. Но тогда получается, что и коммунистические западные газеты несут чепуху. Лондонская "Дейли Уоркер" даже напечатала опровержение в ответ на статью Ольшевского. И это доказывает, что советское неофициальное искусство и мои картины, в частности, составляют часть культурного наследия СССР. Однако Ольшевский объявляет, что я позорю не только советское искусство, но и целиком всю нашу страну. Он заявляет это от имени всех, тогда как я, художник, даже не имею возможности ему ответить. Ведь все, что я здесь сказал, не опубликует ни одна газета. Ольшевский об этом знает, и вы – тоже".

Ни к чему перечислять вопросы, которые мне задавали. Некоторые спрашивали без всякой задней мысли, из простого любопытства. И наконец наступило время выносить приговор. Парторг предоставил слово сидящим в зале. Девяносто пять процентов единодушно осудили выставку на Шоссе Энтузиастов, меня и мои картины, одобрили статью Ольшевского, призвали меня раскаяться и перестать писать такие картины. Яростнее всех оказался председатель МК. "Мы лишь зря теряем время с этим отщепенцем, – заявил он. – Знаете ли вы о том, что едва окончится собрание, как они немедленно побегут к своим иностранным друзьям, чтобы передать все на Би-Би-Си и "Голос Америки"? Им доверять нельзя, они нас обманывают. Недавно мне довелось присутствовать на процессе над Даниэлем и Синявским, двумя мерзавцами, которые бесстыдно изворачивались, давая показания и стремясь на этом нажить политический капитал. Посмотрите на Рабина! Он ведет себя в точности, как они. Всячески пытается себя обелить, обвинить во всем искусствоведа и Союз художников и убедить всех, что к нему несправедливы. Но он лжет! Он сам отлично понимает, кто он и что он".

И тут произошло нечто совершенно невероятное и неожиданное. Председатель худсовета Роскин вдруг встал на мою защиту. Его выступление сыграло большую роль на собрании. Он чудом выжил в сталинское время. Однако мечты о живописи в традиции двадцатых годов, особенно ему близких, пришлось оставить и заняться дизайном. Как председатель худсовета Роскин был очень влиятельной фигурой.

"В области искусства, – сказал он, – нельзя рубить сплеча. Творчество – процесс очень сложный, и мы должны понять, что этот художник пытается понять глубину вещей. Мы не должны отталкивать его от себя, но, наоборот, попытаться ему помочь, тактично и мягко. Ведь задача вовсе не в том, чтобы схватить его за глотку и обозвать антисоветчиком, как попытались это сделать. Задача как раз – в обратном. Подобными методами было загублено немало одаренных художников, вынужденных предать свои идеалы, что стало для искусства большой потерей".

Выступление Роскина прозвучало, как гром с ясного неба. Сидев-

шее в президиуме начальство побагровело от гнева, однако прервать выступление не решалось. Я не верил собственным ушам. Я знал, что в зале есть люди, очень хорошо к нам расположенные – ведь не все же, в конце концов, подонки. И поэтому, когда меня ругали, я был относительно спокоен. Но когда заговорил Роскин, я почувствовал, что к горлу подступил комок, и я вот-вот расплачусь.

После выступления Роскина некоторые выступающие сбавили тон, стали говорить мягче, благожелательней. Завмастерской нашей группы даже объявил, что у него нет оснований на нас жаловаться, и что он, в общем, доволен нашей работой. Дело шло к концу. Слово взял парторг. Он сказал: "Ну, что ж, все ясно. Собрание показало, что большинство выступающих одобрило статью Ольшевского. В ней утверждается, что выставка на Шоссе Энтузиастов была ничем иным, как политической провокацией, чего, очевидно, сами участники не поняли. Их, как и Глезера, просто использовали те, в чьих интересах было усиление международной напряженности и антисоветской пропаганды как в печати, так и на радио. Хотелось бы, – заключил он, – чтобы художники извлекли из всего этого урок и сказали бы сами, что они об этом думают".

Я для себя, во всяком случае, решил, что каяться не буду. Вышел на трибуну и сказал, что собрание длилось больше пяти часов и что я уже не в состоянии соображать. Необходимо все обдумать, и, если можно, я дам ответ через неделю. Председатель МК тут же объявил, что я притворяюсь и всех обманываю. "Мы только зря потеряли время", – сказал он. Я ответил, что мне, к сожалению, нечего прибавить к сказанному, и вышел из зала. Коля со Львом повторили, примерно, то же самое и вышли вслед за мной.

Спектакль закончился. Прежде всего, мы убедились, что из комбината нас не выгонят. В течение всего собрания мы вели себя вполне прилично, не ругались и не спорили и в то же время не покаялись, как того хотело начальство. И художники, и дирекция смотрели на нас если не как на героев, то уж как на людей явно интересных. Жизнь пошла своим чередом. Объявленные неприкасаемыми, я, Лев и Коля продолжали работать на комбинате.Только теперь моя ситуация ухудшилась, так как, находясь под постоянным наблюдением, я должен был каждый день являться на работу. Времени на живопись не оставалось. Я продержался еще месяца два, чтобы не доставлять особой радости начальству, а потом подал заявление об уходе с работы по собственному желанию. В дирекции мой уход оформили молниеносно. Формальности были выполнены буквально за 15 минут.

Целый год я находился без официальной работы, хотя в материальном отношении все обстояло благополучно – продал много картин. Но было страшновато, потому что над головой постоянно висело обвинение в тунеядстве и угроза, что могут выслать из Москвы. Тогда я решил попытать счастья как книжный иллюстратор. Благодаря знакомому искусствоведу, удалось получить заказ в издательстве "Советский писатель". Главный художник издательства благожелательно меня принял.

Работа хорошо оплачивалась: 200-300 рублей за маленькую книжку. Опытный иллюстратор мог оформить такую за три-четыре дня. Я же переделывал макет за макетом, без конца отбрасывал неудачные варианты и провозился около месяца. Нелегко, зато на душе спокойно – никто никуда тягать не будет. Оформив несколько книжек, я подал заявление о приеме в Горком художников – профобъединение оформителей и иллюстраторов, не входивших в Союз художников. Председатель Горкома прочитал мое заявление, потом подозрительно на меня поглядел: "Так это в ы выставлялись на Шоссе Энтузиастов?" Я молчал. "Досадно, досадно... Во всяком случае, если в будущем вздумаете участвовать в выставках подобного рода, то обязаны нас предупредить. Будем надеяться, что прислушаетесь к нашему совету, так как мы отвечаем за членов нашей организации и не хотим впутываться в неприятные истории. Лишь при таком условии можем принять вас в Горком."

Надо сказать, что после выставки на Шоссе Энтузиастов все клубы, научные институты, все выставочные залы Москвы получили строжайшее указание организовывать выставки лишь с разрешения совета Союза художников. Кто знает, когда еще придется выставляться. Я согласился. Теперь, защищенный профсоюзным билетом, я целиком занялся живописью. Картины продавались очень хорощо. Появилось много отечественных коллекционеров, иностранцы, жившие в Москве, полюбили мои картины, и так как я пишу их медленно, то было больше покупателей, чем картин. С иностранцами мы тогда очень часто встречались. Нас то и дело приглашали на вечера и приемы в посольствах, так что в этом смысле мы пользовались недоступной простым смертным в Советском Союзе свободой. Иностранные друзья прямо звонили по телефону и присылали пригласительные билеты по почте.

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Прошло больше двух лет после выставки на Шоссе Энтузиастов. Мы продолжали время от времени устраивать "дикие" выставки на частных квартирах, однако, прямых столкновений с властями избегали. Власти же, судя по всему, до поры до времени это терпели. Мы продолжали вариться в собственном соку, выставлялись в узком кругу любителей, и, казалось, уже ничто не может нас вывести из этого заколдованного круга.

Но нет. В марте 1969 года один из моих друзей, Сережа Сосинский, работавший в Институте международной экономики и международных отношений переводчиком, сказал мне, что у них в институте вполне возможно устроить выставку картин неофициальных художников и что

организацию этого дела он берет на себя. Мы честно его предупредили, что дело это очень нелегкое и даже опасное. Что едва он назовет начальству наши имена, затея немедленно сорвется, и, кроме того, он может здорово навредить себе самому. Однако Сережа был уверен, что закрытая, предназначенная только для сотрудников института выставка не привлечет ничьего внимания, тем более, что они пользовались особыми привилегиями, часто ездили за границу. "Им, — сказал Сосинский, — будет интересно сравнить последние тенденции в западной живописи с современным русским авангардом". Мы продолжали колебаться. Для большей убедительности Сережа привел ко мне председателя профкома своего института. Тот отверг некоторые из моих работ, в том числе "Паспорт", но с остальными согласился. Он одобрил Мастеркову, Льва, Немухина, Плавинского, Свешникова, Вечтомова и попросил представить по пяти картин от каждого.

Выставка планировалась на две недели, под нее отдавали лучшее помещение института — конференц-зал. Так как ни на понедельник 10-го марта, ни на вторник, 11-го не предвиделось никаких заседаний, то нам разрешили пригласить друзей — не больше сорока человек — утром с десяти до двенадцати и вечером с шести до восьми. Мы развешивали картины в течение всего воскресенья. Зал был большой, вытянутый в длину, со стульями вдоль стен. Стулья вынесли в коридор. Больше хлопот доставили окна и двери. Пришлось завесить их бумагой.

В 9 утра в понедельник все художники были в сборе. Перед вернисажем выставку должны были просмотреть директор и парторг института. Явился один парторг. Картины он смотреть не стал, немного постоял перед моей "Рыбой с "Правдой" и молча вышел. Казалось, все протекало вполне нормально, зал постепенно наполнялся людьми. Сотрудники института с большим интересом рассматривали картины, подолгу останавливались возле каждой, атмосфера царила мирная и доброжелательная. Так продолжалось приблизительно полчаса. В это время в зал вошел лысоватый мужчина небольшого роста. Он уже до того заглядывал несколько раз, но никто не обращал на него внимания. Я все-таки спросил, что это за тип. Ответили — завхоз. И вдруг этот самый завхоз позвал рабочих и приказал им поставить стулья на место. На вопрос, почему он так поступает, завхоз пробурчал что-то невразумительное относительно того, что на 11 часов намечается совещание. Ни Сережа, ни председатель профкома не понимали, о чем идет речь — никакого совещания не предвиделось, и завхоз плел явную чушь.

Тогда мы все во главе с Сережей отправились к парторгу. Но тот заперся в своем кабинете и на стук не отвечал. Как выяснилось позднее, завхоз проявил бдительность. Увидя картины, он позвонил куда следует и получил соответствующие инструкции. Профоргу все же удалось прорваться в кабинет, откуда он вышел бледный и потерянный. "В одиннадцать часов будет совещание, — тихо сказал он. — Надо немедленно очистить зал" Я спросил, снимать ли картины, однако он отрицательно

покачал головой: "Нет, картины пусть остаются, вечером, после рабочего дня, выставка продолжится".

Внизу, у входа уже начиналась толкучка. Приехали наши друзья из французского посольства, но их не пускали. Я объяснил, в чем дело, и французы, хотя и расстроенные непредвиденным препятствием, в конце концов махнули рукой и уехали.

Совещание открылось приблизительно в час, как раз к началу обеденного перерыва. Зал заперли на ключ, нас выставили в коридор. Парторг не появлялся, профорг – тоже. Скорее всего они ждали приказа сверху. Часам к двум к подъезду подъехало несколько черных "Чаек". Из них вышли подобные близнецам субъекты в одинаковых серых плащах, они молча прошествовали по коридору и скрылись в кабинете парторга. Вскоре вся компания направилась в зал. Мы попытались заговорить с парторгом, но он, сухо кинув "мне некогда", торопливо прошел мимо. Через полчаса гости с лицами еще более хмурыми, чем прежде, вышли из зала и уехали на своих "Чайках".

Однако рядовые сотрудники Института международной экономики и международных отношений, гордые своими привилегиями, пришли в негодование. Они не привыкли, чтобы с ними обращались подобным образом. Вернувшись с обеда и увидев двери зала запертыми, они кинулись к кабинету парторга. Кто-то возмущенно кричал, что подобное безобразие недопустимо, непрерывно звонил телефон, кто-то кому-то объяснял, что, мол, да, иностранцев не должны были допускать, но сотрудники тут ни при чем, выставку организовывали для них. Короче, тарарам получился такой, что администрация пошла на уступки и продлила выставку еще на один час. К пяти публика мало-помалу разошлась, и вот тогда-то парторг пригласил нас к себе в кабинет. Там уже сидело человек двадцать. Парторг тяжело поднялся с массивного кресла и сказал, неприятно морщась: "Сегодня с шести до восьми выставку разрешаю, но завтра ни о каком продолжении не может быть и речи. Картины снимете и немедленно увезете домой. Все.".

Особо несчастными мы себя не чувствовали. Ну, что ж, снова закрывают выставку, дело привычное, хорошо, что хоть на сегодня разрешили, и друзьям можно будет показать. Иностранцы и журналисты к шести должны подъехать. Институт опустел, остались лишь мы да два сторожа с ночным дежурным. Мы попросили дежурного отпереть дверь, но тот возразил, что рабочий день окончен и по приказу он обязан закрыть помещение. "Но ведь выставка же должна быть с шести до восьми!" "Ничего не знаю! – замотал он головой. – Посторонних пускать не велено, и я никого не пропущу!" Стало ясно, что спорить с ним бесполезно. Мы хотели снять картины и увезти, но и на это дежурный отвечал, что "картины нельзя забирать. Такого приказа от начальства не поступало".

Когда на другой день утром мы приехали в институт, оказалось, что картины уже со стен сняли и заперли на ключ в одной из комнат. Профорг ждал нас. Ни на кого не глядя, он угрюмо и расстроенно повторял:

"Я ничего не знаю... Я ни в чем не виноват... Я ничего не могу для вас сделать". "Не надо ничего для нас делать, — сказал я. — Дайте хоть картины самим домой отвезти". Это они, слава Богу, нам разрешили.

Из всей этой истории мы поняли, что уж если сотрудникам т а к о г о института запретили смотреть наши картины, уж если эти верные, преданные, проверенные слуги партии лишены подобной возможности, то что же говорить об остальных! Ясно, что в других институтах и пробовать не стоит.

ТБИЛИССКАЯ ЭПОПЕЯ

Через месяц после выставки в клубе "Дружба" Глезер получил от комсомольского журнала "Смена" командировку в Тбилиси. Ему было поручено — и вправду в СССР правая рука не знает, что делает левая, а то бы жить и вовсе было невозможно — организовать в стенах редакции экспозиции молодого грузинского художника Джамиля Хуцишвили. Нужно сказать, что к тому времени Саша уже собрал довольно большую коллекцию московских неофициальных художников. Вся его комната в небольшой коммунальной квартире была завешана работами моими, Немухина, Мастерковой, Свешникова, Зверева и других живописцев. Даже коммунальный коридор был завешан графикой.

Он вернулся из Тбилиси, лицо его сияло: "У нас будет выставка там", — сказал он мне и Володе Немухину. "Где, какая выставка", — усомнились мы. "В Союзе художников Грузии. Они все организуют, дают зал и делают каталог, правда, без репродукций и по-грузински". Мы слушали и своим ушам не верили. Ну, ладно, выставляют нас физики да математики, и, кстати, начальство всегда заявляет: "Они ничего не понимают в искусстве, просто фрондируют", а тут вдруг Союз художников. "Не может быть", — твердил Немухин. Как это получилось? Оказывается, очень просто. Приехав в Тбилиси, Саша отправился в Союз художников Грузии договариваться о выставке в Москве картин Хуцишвили. "Послушайте, — спросили его руководители Союза, — что у вас там случилось? Как раз в те дни в Москве проходил Всесоюзный пленум Союза художников. И такой на нем разразился скандал между правыми и левыми академиками, что мы только ушами хлопали. Какая-то выставка, какие-то подпольные художники. Мы так ничего и не поняли". Ну, Саша все рассказал и даже фотографии работ из своей коллекции показал, и грузины загорелись. "Давайте сделаем в Тбилиси выставку вашей коллекции". "У вас же неприятности будут", — предупредил Саша. Но грузины только смеялись: "Ничего, ничего не будет. Мы сделаем выставку тихо, во время недели изобразительного искусства, в одном из наших залов. Вход будет лишь для членов Союза". "А каталог сделаете?", — спросил Саша, понимая, что значит для нас каталог с грифом Союза художников. "Сделаем, — согласились странные руководители. — Только на грузинском языке".

Рассказал нам Глезер все это и спрашивает: "Что будем делать?" Мы

с Немухиным преглянулись. Очень заманчивая перспектива. Союз художников Грузии делает выставку московских неофициальных художников, да еще с каталогом, то есть бумажкой, от которой уже не отмахнешься. Через несколько дней Немухин заказал огромный ящик, в который мы затем запаковали значительную часть сашиной коллекции. Саша позвонил в Тбилиси и, получив подтверждение от самого председателя Союза художников Грузии, стал собираться в дорогу. Мы с Немухиным проводили его в аэропорт и стали ждать вестей из Тбилиси.

А там по словам Глезера случилось вот что: грузины слово сдержали. Каталог напечатали и выставку открыли в одном из залов Союза художников. На нее сразу повалил народ. Не только художники, как предполагалось вначале, но и их друзья, родственники, друзья родственников и т.д. На второй день пришел на выставку секретарь парторганизации Союза. "И что же, – смеялся Глезер, – закрыл ее? Нет, заявил, что нечего такую интересную выставку на пятом этаже держать. Надо, чтобы побольше народа ее увидело". Раз парторг сказал, так и сделали. Выставку перенесли в другой зал Союза художников, расположенный на проспекте Руставели, прямо против здания ЦК и Совета министров Грузии. Тут зрителей стало еще больше. Молодые грузинские художники удивлялись: "Мы думали, что в России нет живописи. И вдруг такое". Некоторые из них даже подарили Саше свои работы и попросили его выставить их вместе с нашими. Одобрительно отозвался о выставке народный художник Грузии Ладо Гудиашвили. Когда-то его, жившего в двадцатые годы в Париже, дружившего с Модильяни, преследовали. Но теперь у него был огромный авторитет. После того, как Гудиашвили посмотрел выставку, на нее с фотографами приехал главный редактор грузинского журнала "Изобразительное искусство". "Фотографы потрудились вовсю, – рассказывал Саша, – а главный редактор восхищался и говорил своему заместителю: "Материал об этом – в номер".

"Вы знаете, – продолжал Саша, – хоть это и казалось мне несбыточным чудом, но я в какую-то минуту поверил, что, может быть, это чудо произойдет".

Увы, не произошло. В тот же день, попозже, на выставку ворвался какой-то полковник и стал кричать: "Мало того, что грузины сами модернисты, они еще русских модернистов проталкивают. Сейчас же дам телеграмму в Москву, в КГБ". "Почему в КГБ, – пытался урезонить его Саша. – Есть Министерство культуры, Союз художников". "В КГБ, в КГБ", – орал побагровевший полковник.

Саша думал, что покричит он, и тем дело закончится. Но уже на следующее утро сам председатель Союза художников Грузии дрожащими руками снимал наши картины со стен. "Что случилось?" – допытывался Саша. Но тот лишь махнул рукой и неопределенно сказал: "Забирайте картины и уезжайте". Так на три дня раньше срока по приказу из Москвы закрыли нашу выставку в Тбилиси. Но сотни людей посмотрели ее, и был у нас теперь официальный советский каталог нашей выставки. В

Тбилиси через год все руководство Союза художников сменили. А в Москве на нас отозвались почти немедленно. Видимо, сашина выставка в Тбилиси оказалась последней каплей. Терпение у начальства лопнуло, и в газете "Московский художник" нам посвятили целый разворот. Досталось и художникам, и Глезеру, но это никого из нас не испугало. На нас разворот "Московского художника" никак не отразился, а Глезер, хоть кое-где его печатать и перестали, в общем тоже пострадал не слишком. Через год он даже купил рядом с нами на Преображенке трехкомнатную кооперативную квартиру, и она сразу же превратилась в настоящий музей, который могли посещать все желающие увидеть картины неофициальных художников.

КГБ ВЫСТУПАЕТ В ОТКРЫТУЮ

Обычно КГБ предпочитает работать втихую. Что же касается меня, то они трижды открыто показали, с кем я имею дело. Может, не считали нужным особенно скрываться, а, может, просто для того, чтобы не забывался и помнил, к т о занимается мною. А я и без того знал. Первые мои столкновения с КГБ начались еще тогда, когда нас с Валей стали приглашать на приемы в иностранные посольства. Бывший в то время послом США в СССР господин Томпсон любил приглашать неофициальных художников. Не имея возможности давить на столь значительную фигуру, КГБ стал давить на нас. Однажды, когда я собирался на очередной прием и уже выходил из дому, вдруг раздался телефонный звонок. Мужской голос объявил, что со мной разговаривает некий чин из КГБ. Мол, необходимо поговорить и выяснить кое-какие детали. На какой-то миг стало страшно: уж очень непривычно, чтобы вот так запросто человек сам говорил, что он – гебешник.

– Пожалуйста, – говорю, – спрашивайте, что вам нужно?

– Нет, – отвечает вежливо. – Хотелось бы встретиться с вами лично и поговорить в спокойной обстановке.

Я попробовал поторговаться.

– Но мне кажется, по телефону удобнее всего.

В голосе гебиста появились насмешливые интонации:

– Нет, нет, не беспокойтесь, ничего страшного не происходит. Просто м ы не советуем вам ходить на прием к американцам.

– Но почему? – спросил я.

– Вот как раз по этому поводу нам и хотелось с вами побеседовать лично, вот почему я и настаиваю на том, чтобы вы пришли к нам.

– Но как я к вам попаду, ведь у вас по пропускам?

– Ничего, я вас встречу.

– Но ведь я вас не знаю в лицо.

– Не беспокойтесь, зато я вас знаю, – ответил гебист.

Свидание было назначено на завтра, на 12 часов. Приемная КГБ

находилась на Кузнецком Мосту как раз напротив магазина "Детский мир". На вывеске – скромная надпись – "Комитет государственной безопасности. Московское отделение".

Назавтра около двенадцати я шел по Кузнецкому по противоположной стороне улицы, поглядывая на двери приемной КГБ. За стеклянной дверью стоял мужчина, который, увидев меня, сделал знак рукой, чтобы я перешел улицу. Вид у него был самый обычный, лицо довольно заурядное, седоватые волосы аккуратно подстрижены, немолодой уже, лет за пятьдесят. Мужчина кивнул постовому: "Этот со мной", и провел меня в кабинет на первом этаже, где находились массивный стол, стулья и три кресла.

– Присаживайтесь, – пригласил он и усадил в кресло так, чтобы свет падал мне в лицо. Сам же сел спиной к окну. – Закуривайте. – Он вытянул сигареты и предложил мне. Я отказался и закурил свою. Гебист чрезвычайно любезно пододвинул пепельницу. – В принципе лично к вам у нас нет никаких претензий, Оскар Яковлевич, – начал он. – Вы хороший художник, и вполне понятно, что к вам ездит много народу, в том числе иностранные дипломаты, журналисты и работники посольств. Только имейте в виду, что все эти люди очень разные. Одни – дельные и толковые, честно делают свое дело, никуда не лезут и не своими делами не занимаются. Зато другие, а их очень много, наоборот, ведут себя иначе. – Гебист сделал паузу и внимательно посмотрел мне в глаза. – Другие ведут себя недостойно, откровенно недружественно по отношению к нашей стране, многие из них выполняют шпионские задания иностранных разведок, и вот с такими мы ведем постоянную борьбу. Что вы можете мне возразить? – Он выжидательно смотрел на меня.

Я ответил, что, в принципе, вполне допускаю существование шпионов, однако лично не знаю ни одного...

– Можете ли вы назвать фамилии иностранцев, которые к вам приходят? – вдруг спросил он меня.

Я ответил:

– Для чего вы об этом у меня спрашиваете? Ведь вы ведете за моим домом постоянную слежку, а за иностранцами и тем более, и отлично знаете, кто ко мне приезжает. Народу бывает действительно очень много, и я не в состоянии запомнить имена всех, кто у меня бывает, к тому же они непривычны для уха русского человека. Но дело даже не в этом. Предположим, я знаю фамилии нескольких иностранцев, с которыми давно знаком. Ну и что? Неужели вы думаете, что я их вам назову? Да я бы себя после этого чувствовал последней скотиной!.. Ну и вам, я считаю, не совсем достойно делать мне подобные предложения...

Гебешник молча глядел на меня. Он вовсе не казался рассерженным.

– Да, – наконец произнес он, – вы правы. Мы, действительно, знаем всех, кто у вас бывает, знаем и то, что сами вы никаким шпионажем не занимаетесь. – Он усмехнулся, – иначе у нас с вами разговор был бы другой. Нет, вы просто продаете картины... И это понятно – вы

художник и должны на что-то жить. Конечно, – он вздохнул, – было бы гораздо лучше, если бы вы стали членом Союза художников... К сожалению, это от нас не зависит.

Я удивленно на него поглядел.

– Да-да, – продолжал он, – это, действительно, от нас не зависит. Прерогатива, так сказать, органов, занимающихся вопросами культуры. – Гебешник удобнее уселся в кресле и внимательно на меня посмотрел: – Кстати, когда идет речь о положении некоторых художников в Советском Союзе, о вашем, к примеру, положении, то пытаются создать представление, что у нас в стране не существует свободы творчества, что здесь подавляется творческая активность личности. Что вы сами об этом думаете?

Я пожал плечами:

– А разве неправда, что меня не хотят выставлять?

– Не отрицаю, – сказал он. – Но с вами вообще ситуация особая.

Выставками занимается Союз художников. Они там у себя очень ревниво относятся ко всем этим делам. Мы совершенно не можем на них влиять. Было бы очень важно, чтобы вас приняли в Союз, но в данном случае мы совершенно бессильны, это не входит в нашу компетенцию... В целом же создается искаженная картина, будто у нас не существует свободы творчества. Высказывания таких художников, как вы, используют иностранные журналисты и пишут статьи, ничего общего не имеющие с советской действительностью. Не хочу сказать, что так поступают все иностранные журналисты. Нет, некоторые из них умеют смотреть объективно и отражают реальное положение вещей. Нас же, как вы понимаете, тревожат другие, которые могут использовать ваши рассуждения с определенной враждебно-идеологической целью.

Я молчал. Ход его рассуждений был мне ясен, возражать я не собирался, потому что знал, что все равно бесполезно, лишь с огромным облегчением почувствовал, что на этот раз бояться, кажется, особенно нечего. Гебешник продолжал:

– Мы следим за поведением дипломатов и других иностранцев в Москве и замечаем, что они все чаще и чаще и совершенно бесцеремонно начинают приглашать к себе советских граждан... некоторых художников, писателей... Но ведь на приемах присутствуют члены правительства! А что, если вдруг случится что-то непредвиденное. Вы же знаете, что многие ваши приятели... э-э, мягко выражаясь, привержены к крепким напиткам. – Гебешник панибратски мне подмигнул: – Вообразите картинку – наклюкается один такой "герой" и начнет орать и материться при всем честном народе. А? Ведь это же совершенно недопустимо! Наши органы даже и в этом, казалось бы, очень обыденном факте, должны проявлять крайнюю бдительность. Вот мне и приходится еще раз повторить: "Не ходите на этот прием!"

Я возмутился:

– Да почему вы так думаете обо мне?! Я – человек непьющий (в то время я, и правда, не пил), а художники, о которых вы гово-

рите, у дипломатов никогда не напиваются. Вы, которые отлично обо всем осведомлены, прекрасно знаете, что я ничего дурного не делаю. Почему же мне сегодня не ехать?

Гебист недовольно нахмурился:

– Ну, что ж, если вам это уж так дозарезу нужно, то поезжайте, конечно... Но к чему такое упрямство?

Я сказал:

– Ничего не понимаю! В принципе вы все-таки разрешаете мне ехать или нет? Я совершенно не понимаю, что происходит!

– Да ничего особенного не происходит, – замялся гебешник. – Просто именно сегодня мы просим, чтобы вы не ехали...

– Но почему?!

– Есть причины... Не могу, к сожалению, ввести вас в курс дела. Впрочем, поступайте, как знаете... Но имейте в виду, что перед каждой поездкой к иностранцам вы должны нас об этом оповещать.

Я покачал головой:

– Ну нет. Этого я делать не буду! Для меня э т о совершенно неприемлемо.

Во взгляде гебиста мелькнуло что-то жесткое:

– Так... Тогда прошу на этот прием не ехать. Не просто прошу, а настаиваю!

"Да ну их всех к черту! – подумал я. – И чего он, на самом деле так мне дался, этот прием? Ничего там особенного не будет, все, как всегда. Валя эти приемы не любит, сегодня как раз она не хотела ехать. Ну, а мне на кой шут портить себе кровь? Останусь дома!"

– Хорошо, – согласился я. – Если вы так настаиваете, не поеду.

Тот удовлетворенно кивнул и посмотрел на часы. Я понял, что разговор подходит к концу, и приготовился слушать обычные гебистские просьбы о "неразглашении" содержания беседы. Однако к моему удивлению собеседник, поднимаясь с кресла, сказал:

– Ну, кажется, все. Кстати, можете рассказать вашим друзьям-художникам, что вас вызывали в КГБ специально по поводу приглашений на приемы к иностранцам... Вообще-то имена всех, кого приглашают, нам известны, но вызывать всех сюда не имеет смысла. Вы уж всех предупредите, пожалуйста.

Когда я вышел на улицу, то первым побуждением было побежать к телефонной будке и немедленно обзвонить своих, чтобы обо всем рассказать. Однако, поразмыслив , я понял, что торопиться со звонками не следует. Просто, оповестив по возможности большее количество народа, я сослужу гебешникам хорошую службу. Поработаю на них, так сказать! Нет, гебист, безусловно, совершил психологическую ошибку, когда об этом попросил. Промолчи он, и уж 8-10 художникам я бы позвонил.

Уже после приема, на который я не пошел, я признался друзьям,

что не устоял перед гебешником, считая, что игра не стоит свеч. А когда все хорошенько обдумал, то решил ходить буквально на все приемы, куда бы меня ни приглашали. Хватит культивировать в себе этот подвратительный страх перед "всемогущим" КГБ! И ведь если начнешь их слушаться, то требованиям ни конца, ни края не будет.

Второй раз мне довелось встретиться с КГБ в сентябре 1974 года. После того, как едва выйдя из отделения милиции после бульдозерной выставки, я предложил через две недели устроить повторную выставку на открытом воздухе, притом на том же самом месте, и мы послали советскому правительству письмо, уведомляя его о своем предложении, к Саше Глезеру явились товарищи из КГБ, те самые, что четыре года назад пытались его завербовать, и даже не упрекнув Глезера за организацию пресс-конференции для иностранных журналистов после бульдозерной выставки, попросили Сашу устроить одному из представителей их ведомства встречу со мной. Я согласился при условии, что беседа не будет секретом для моих друзей-художников.

Гебист, как оказалось, интересовался лишь одним: собираемся ли мы во время предполагаемой выставки делать что-либо, что можно расценить как антисоветчину. Могу ли я гарантировать, что этого не случится?

Я пожал плечами:

– Наша единственная цель – показывать картины. Антисоветчина нам ни к чему. Однако гарантировать что бы то ни было не могу. Как я могу отвечать за каждого? Может, кто-нибудь и выступит...

В ходе переговоров с министерством культуры нас уже предупредили, что мы не можем выставлять картины антисоветского или порнографического характера, и мы ответили, что дело должно решаться принципиально по-другому: если художник нарушит в чем-нибудь закон, то власти могут его судить, но в любом случае мы отказываемся от давления на художников и от какой бы то ни было цензуры их произведений. Собственно, то же самое я сказал чиновнику из ГБ, и того мой ответ, кажется, удовлетворил. Во всяком случае, с тех пор мы его больше не видели и дальше вели все переговоры с Управлением культуры Москвы.

В 1977 году я вновь оказался лицом к лицу с КГБ. Не помню точно, в каком месяце я совместно с моими друзьями – замечательным литературоведом Леонидом Ефимовичем Пинским, художником Иосифом Киблицким и мимом Борисом Амарантовым – организовал культурную группу, которую иностранные журналисты почему-то стали рассматривать как часть московской Хельсинкской группы. Так или иначе, едва мы успели объявить о создании группы, едва успели составить декларацию, касающуюся культурного обмена между СССР и Западом, едва начали, еще ничего-то и не успев сделать, обсуждать, какие у нас есть возможности, как через 48 часов после создания группы, в 8.30 утра в дверь позвонили. Валя открыла. На пороге стояли два человека в штатском, один из которых заявил, что они хотят со

мной поговорить. А когда я к ним вышел, гебисты очень вежливо попросили, чтобы я отправился с ними для беседы в местное отделение Лубянки. "О чем?" – спросил я. Но, как водится, на вопрос они не ответили, а только сказали, что, дескать, там все скажут. Хотя я и не думал, что меня арестуют, но, на всякий случай, набил карманы пачками сигарет.

Гебисты подвезли меня к огромному серому зданию в нашем же квартале, одна из дверей полуоткрылась, вышел дежурный, проверил пропуска моих сопровождающих, и мы вошли в длинный коридор. Мои провожатые явно не имели отношения к местному отделению КГБ, так как не знали расположения комнат. Они были с Лубянки. Я остался в коридоре под охраной молодого гебиста, другой куда-то исчез. От нечего делать я принялся рассматривать развешанные на стенах стенды и плакаты. Все, как везде, как в любом советском учреждении, только на гебистскую тему.

Минут через пятнадцать меня провели в большую комнату, из-за массивного стола поднялся старший из сопровождавших, и медленно, с расстановкой произнес:

– Сейчас я ознакомлю вас с указом Верховного Совета СССР, разрешающим КГБ обращаться с предостережением к советским гражданам, занимающимся противозаконной деятельностью, – и информировать их о последствиях. Вы организовали культурную группу и, хотя еще ничего не успели предпринять, органы считают необходимым предупредить вас о следующем: "Любой составленный группой документ, будь то декларация, обращение или предложение, – будут рассматриваться как уголовное преступление". Если по делу вашей группы начнут вести следствие, то наше предупреждение явится отягчающим вину обстоятельством.

– Почему же вы сразу решили, что образование культурной группы обязательно будет носить уголовный характер? – спросил я.

– А вы, что ж, хотите, чтобы мы поверили, что она будет действовать в соответствии с социалистической законностью? – усмехнулся начальник.

– Да ведь речь идет о культуре! – возмутился я, – при чем тут уголовщина?

– Мы вас вызвали не для того, чтобы заниматься обсуждениями, а чтобы вы приняли к сведению инструкцию, которую я вам изложил. По этому поводу нами уже составлен протокол, который вы должны подписать.

– Я ничего не подписываю, кроме своих картин.

Начальник пренебрежительно передернул плечами:

– Как хотите. Обойдемся без вашей подписи. Однако – советую вам хорошенько подумать. Дело-то ведь очень серьезное!

Он укоризненно покачал головой:

– Очень некрасиво все получается. Вчера, например, радиостанция "Свобода" уже упомянула в одной из своих передач о создании вашей

культурной группы. "Голос Америки" и Би-Би-Си, правда, почему-то игнорировали столь важную политическую акцию. – Он иронически усмехнулся: – Ну, что ж, на сей раз вы свободны. Однако имейте в виду, что за подобные антисоветские штучки вас не похвалят.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

После, так сказать, "лирического" отступления о КГБ, я вернусь в своем повествовании в конец 60-х годов.

Слух о срыве нашей выставки в Институте международной экономики и международных отношений облетел всю Москву. Друзья и знакомые нет-нет да и заводили разговор о том, что мы теперь собираемся делать... существуют ли какие-нибудь реальные возможности для проведения новой выставки? Увы, все было глухо. Приблизительно с этого момента я и стал мечтать о проведении выставки на открытом воздухе. Я знал, что в Париже, Нью-Йорке или Лондоне это вещь заурядная: художникам никто не запрещал показывать прохожим свои произведения. Это, конечно, так, да на то он и Запад, а ведь мы-то в Советском Союзе живем! Но однажды мне в руки случайно попался польский журнал на русском языке, и там рассказывалось, как сравнительно недавно польские художники сумели организовать просмотр картин в одном из варшавских парков. Я попытался заразить своей идеей друзей-художников, однако, момент оказался неподходящим: как раз в это время КГБ и милиция занимались разгоном стихийно возникавших на Пушкинской площади демонстраций за проведение в жизнь Советской конституции. Людей арестовывали, некоторых судили, отправляли в тюрьмы и лагеря. Друзья резонно мне объяснили, что экспозиция на открытом воздухе будет расценена властями как демонстрация, а участников могут арестовать и судить. Были среди художников и такие – в том числе моя Валя – которые считали, что показ картин среди толпы или в парке может дискредитировать живопись в глазах публики и вообще унизить искусство. В любом случае, мой тогдашний призыв был гласом вопиющего в пустыне.

Как бы то ни было, жизнь продолжала идти своим чередом, наступала весна. И тут Лида Мастеркова и Холин с Вечтомовым предложили нам недельки на две отправиться в поход куда-нибудь на север, в сторону Псковщины, где,по рассказам, были замечательно красивые места. Мы так и поступили: захватили спальные мешки, палатки, теплую одежду и отправились в путь.

Отдых оказался на редкость удачным. В начале мая снег местами еще не растаял и белел в лесных ложбинах среди пушистых распустившихся верб, берез, сосен, елей. Теплый, тихий, свежий воздух опьянял. Москва и все московские заботы отошли далеко-далеко. Именно во время путешествия мы и набрели на чудесную небольшую

деревушку Софронцево, которую забыть я уже не мог. Пошли к председателю спрашивать, не продается ли у них здесь какая-нибудь изба. Председатель, хитрый мужичонко, распив с нами поллитру, сказал, что продается бездействующая деревенская школа (детей в деревне почти не было), или изба колхозников, которые давно бросили деревню и переселились в соседний город Устюжну.

Через год мы эту самую избу и купили, и Софронцево стало для меня настоящим спасением от напряженной и тяжелой московской жизни.

САШИНА СВАДЬБА

Весной 1974 года по случаю свадьбы сына Саши я решил устроить большой прием с показом картин приблизительно двадцати художников. Мы разослали кучу приглашений друзьям, знакомым, иностранным дипломатам и журналистам. Для большей уверенности билеты для иностранцев Женя Рухин разносил сам. Женщины напекли пирожков с разными начинками, на Преображенском рынке накупили соленых огурцов, моченых яблок, кислой капусты. Удалось достать даже красной и черной икры. Закуска удалась на славу. На столах стояли бутылки водки, шампанского, различных грузинских вин. Мебель отнесли к Саше Глезеру, в комнате поставили на козлах столы, вдоль них длинные лавки. Все стены сплошь увесили картинами. Посуду одолжили у знакомых, двести стаканов пришлось купить.

Вскоре начали подъезжать первые машины, а потом в комнатах яблоку некуда было упасть. Я стоял в коридоре и встречал приглашенных. "Господи, – думал я, – хоть бы все обошлось, не разбили бы стекла у иностранных машин, не пропороли бы шины". Однако, нет, входившие в роскошных манто и шубах иностранцы весело улыбались и рассказывали, как удачно они доехали, как предупредительны были с ними какие-то люди в штатском, которые не только указывали дорогу к дому в нашем квартале, но и объясняли, как лучше подъехать. Поистине КГБ превзошел сам себя! Они заботились, чтобы с иностранцами, не приведи Господь, не приключилось неприятностей и проявляли о них самую отеческую заботу. Проходивших к подъезду, конечно, не стесняясь, в открытую фотографировали, но это были уже пустяки, мы к такому давно привыкли.

Когда после полуночи все иностранцы разъехались и мы остались в узком кругу друзей, из Ленинграда вдруг позвонила жена Рухина и, плача, стала рассказывать, что только что какие-то хулиганы закидали их окна (Рухины жили на втором этаже) булыжниками, стекла разбиты вдребезги. Она вызвала милицию. Прибывший милиционер разговаривал грубо, объявил, что хулиганы разбежались и никого поймать не удалось, а в заключение добавил, что пусть, мол, ее муж пореже ездит в Москву, тогда и окна будут целы. Женщина была в ужасе и умоляла Женю немедленно приехать домой. Тот обещал вернуться первым же поездом.

Конечно, Жене мстили за то, что он был активным участником вечера, за то, что разносил пригласительные билеты, за то, что вообще ездил в Москву и вел себя так, словно жил в свободной стране. Битье стекол было угрозой, приказом немедленно покинуть Москву. Я проводил друга до поезда. Мы молча расцеловались.

Когда он уехал, я почувствовал, что со мной творится что-то неладное. Друзья — их осталось ночевать человек двенадцать — с удивлением смотрели, как я подошел к мольберту, взял мастихин и попытался провести несколько штрихов. Потом стал безостановочно большими шагами ходить по комнате. Столы и скамейки уже унесли, все сгрудились на диване у окна и наблюдали, как я, опустив голову, бегаю по комнате, не в силах остановиться, и что-то бормочу под нос. Потом стал вскрикивать, размахивать руками, кого-то в чем-то убеждать. Решили, что у меня от пережитого за день нервный стресс и немедленно позвонили Марату. Как на грех, тот находился на ночном дежурстве, но жена его Таня заверила, что как только Марат вернется, она сразу пошлет его к нам.

Я бросился к выходной двери, но понял, что выйти на улицу не смогу — какой-то непонятный ужас сковал меня. Но я чувствовал, что выйти необходимо, иначе я погиб, пропал! Так и метался на маленьком пятачке в передней, порой хохоча, порой что-то вскрикивая. Я, наверное, окончательно сошел бы с ума, если бы в дверь, наконец, не позвонили. Вошел Марат, хмурый и строгий, в белом халате. Он попросил всех выйти в другую комнату и, усадив меня перед собой, голосом холодным и даже враждебным спросил, что со мной происходит. Я вдруг как-то сник и почти шепотом объяснил, что нервы мои окончательно сдали... И вдруг ни с того, ни с сего захохотал. Еще строже Марат приказал прекратить смех и, когда я замолчал, спросил, хочется ли мне работать. Я сказал, что работать мне хочется, но я не могу.

— Почему?

— Вот видишь, — показал я на мольберт, — этот холст уже месяц как стоит, однако, я ничего не могу сделать. Стоит мне подойти к мольберту, как возникает ощущение, что я весь покрыт грязью, что через минуту все, к чему я прикоснусь, будет забрызгано грязью, и что вообще мне нельзя касаться ни мольберта, ни красок. Я гадок, я — страшен, я виновен в каком-то жутком преступлении!

Больше часа Марат без устали меня расспрашивал, заставлял описывать малейшие ощущения, страхи, тревоги. Наконец, поднялся и сказал:

— Ну ладно, самого страшного не произошло. Просто ты слишком перевозбужден, да и выпил чересчур. Сейчас не смей вступать ни с кем ни в какие разговоры и немедленно ложись спать.

Марат не дал никаких лекарств, никаких снотворных. Я лег, тут же заснул и проснулся лишь на другой день к полудню. Марат приехал снова. На этот раз он ни о чем не расспрашивал, задал лишь один вопрос — могу ли я рисовать?

– Попытайся, – сказал он. – Я мешать не буду, посижу в сторонке.

Я послушно вымыл кисти, приготовил краски, поставил холст на мольберт... Однако ничего не получилось: руки не слушались, пальцы дрожали, в голове все мешалось и путалось.

– Ничего, – вздохнул Марат. – Сейчас ты все это оставь. Успокойся, выйди на улицу, погуляй часа два, потом хорошенько отдохни, послушай классическую музыку. Никого не принимай и не отвечай на звонки. Проведи так денька два-три. Потом принимайся за работу.

Дня через два я снова стоял перед мольбертом и, как это нередко случалось, в каком-то рассеянье, наносил на холст абстрактные, хаотические мазки. Раньше я так лишь начинал композицию, постепенно все более уточняя и усложняя ее. И это состояние начала любил. Картины еще не было, она только рождалась, и неизвестно, в каком направлении могла пойти, но я знал, что она пойдет. Сейчас это чувство исчезло. Все более возбуждаясь, я лихорадочно бросал на холст режуще-яркие цветовые мазки – зеленые, желтые, красные. Возникал какой-то безумный пейзаж, непривычно многоцветный, кричащий, покрытый черными пятнами, которые вопили Бог весть о какой боли. Картина была закончена, но я не мог без отвращения смотреть на нее. Однако и уничтожить написанное, как всегда делал в таких случаях, тоже не мог. Очень скоро я кому-то ее продал, человек этот уехал из Советского Союза, и я был счастлив, что никогда больше ее не увижу. Безусловно, в ней выразилось то состояние на грани безумия, то ощущение потери пространства, которое тогда владело мной.

Как Марат и предсказывал, эта короткая вспышка острой депрессии вскоре прошла и, кажется, не оставила следов, если не считать постоянного страха, что она может повториться. Кстати, состояние, близкое к этому, повторилось осенью 1974 года, когда мы готовили выставку нонконформистов в Измайловском парке. Тогда меня спас – в полном смысле этого слова – отец Димитрий Дудко.

ОТЕЦ ДИМИТРИЙ

Отец Димитрий был молодым семинаристом, когда в 1948 году, во время очередной волны сталинских репрессий его арестовали и дали восемь лет лагерей. После освобождения и реабилитации он закончил Загорскую богословскую академию и был назначен священником в один из московских приходов. Его популярность непрерывно росла. Чтобы послушать страстные, пронизанные искренней верой проповеди, в небольшую церковь на Преображенке стекалась масса народу, и не одни только верующие. Приходили атеисты, люди самых различных религиозных взглядов, и особенно много молодежи.

Отец Димитрий обычно вел проповедь в форме диалога, что позволяло отвечать на многочисленные вопросы прихожан. Мягкий и тер-

пимый, он никогда не требовал категорических ответов и невыполнимых решений. Он прекрасно понимал и чувствовал людей, любил и жалел их. Они отвечали ему такой же горячей любовью. Он понимал их тягу к вере, к Богу, многих крестил, нередко тайно, потому что крещение грозило неприятностями. Отец Димитрий со спокойной и твердой уверенностью повторял, что ищущий всегда найдет дорогу к Богу. О проповедях отца Димитрия я слышал давно, но довелось с ним познакомиться только в 1973 году. Один из друзей сказал, что отец Димитрий любит литературу, искусство, особенно живопись, и что ему бы очень хотелось увидеть мои работы. Мы договорились о встрече, и отец Димитрий в точно назначенное время пришел к нам с молодым человеком аскетического вида, которого представил как одного из духовных своих детей.

Отец Димитрий вызывал симпатии при первом же взгляде. От него шло ощущение благодушия и доброты. Она сквозила в ясной обезоруживающей улыбке, в светлых, почти детских глазах, во всей его фигуре, немного коренастой, полноватой, в лысеющей голове, окруженной венчиком мягких светлых волос. Одет он был в темный гражданский костюм, и лишь маленький крестик выдавал его принадлежность к священству. Ему было лет сорок.

Отец Димитрий внимательно просмотрел мои картины и оценил их мягко и благожелательно, с чем не согласился его спутник. Тот, наоборот, резко объявил, что полотна исполнены скрытой ненависти и неприятия жизни и что это совершенно несовместимо с принципами религии. Я старался не возражать. Священник же, задумчиво глядя на картины, сказал, что подобная точка зрения кажется ему неправильной и односторонней. Безусловно, здесь много горечи и печали, и в то же время чувствуется и огромная надежда, и тяга к лучшему миру.

Помню, эти добрые, сказанные проникновенным голосом слова, подействовали очень благотворно. Мы распрощались с чувством взаимного расположения и большой симпатии.

Успех проповедей отца Димитрия Дудко принял такой размах, что перепуганные церковные власти поторопились убрать его с Преображенки и перевели в деревню   километрах в пятидесяти от Москвы. Перед отъездом священник собирался сказать прощальную проповедь. Ожидалась масса народу. Мне тоже захотелось пойти, со мною пошли Надя Эльская, считавшая себя его духовной дочерью, и Женя Рухин.

В этой церкви Отец Димитрий уже не имел тогда права служить, но попрощаться с бывшей паствой ему разрешили. Народу в церкви собралась уйма, много было людей и в церковном дворике и даже в прилегающем к церкви переулке. Собирали подписи с просьбой об оставлении отца Димитрия в нашем приходе. Мы тоже подписали. Однако, как и следовало ожидать, все эти хлопоты оказались пустой затеей. Мы пробились сквозь толпу и оказались почти напротив отца Димитрия.

Знакомый фотограф Сычев щелкнул фотоаппаратом, и тотчас стоявшая рядом женщина повернулась и ледяным тоном объявила, чтобы он немедленно прекратил фотографировать, иначе у него конфискуют аппарат. Сычев имел в подобных делах большой опыт. Понимая, что в церкви у него аппарат или пленку отнимать не будут, он разрядил аппарат и отснятую пленку передал Рухину, тот другому знакомому, который благополучно ее и унес.

После проповеди я с друзьями возвращался домой, как вдруг возле местного отделения милиции нас окружила толпа дружинников.

– Всем немедленно пройти в отделение! – объявил один из них.

В милиции нас развели по разным комнатам. Занимавшийся мною старшина с сожалением в голосе начал объяснять, что-де только что в церкви были украдены часы, а меня задержали потому, что внешне я точь-в-точь похож по описаниям на укравшего. Я молча вывернул карманы, старшина покачал головой и сказал, что жаль, конечно, очевидно, произошла ошибка. Меня отпустили. Как потом выяснилось, точно такой же разговор произошел с каждым из задержанных, и каждому, в том числе старому художнику, находившемуся с нами, выдали версию об украденных часах и о похожей внешности. Скорее всего, в милиции искали не вора и не мифические пропавшие часы, а пленку Сычева.

Накануне выставки в Измайловском парке мне очень захотелось увидеть отца Димитрия. Я предчувствовал, что получу от него моральную поддержку. Часы показывали девять вечера, а ехать надо было Бог знает куда. Надя Эльская с Рухиным пошли искать такси. Его они не нашли, зато уговорили поехать в деревню левака, который за сорок пять рублей согласился отвезти нас туда и обратно.

Мы надеялись застать отца Димитрия в церкви, однако, было уже слишком поздно, служба кончилась, и церковь была закрыта. Прохожий указал на избу, в которой жил отец Димитрий. Мы постучали, вскоре отец Димитрий вышел и, даже не спрашивая, кто приехал, открыл калитку. Надя объяснила причину приезда, Дудко молча благословил ее и пригласил всех в дом. Там было жарко натоплено, всюду висели иконы и пол-избы занимала большая русская печь.

– Выйдем на улицу, – мягко попросил меня отец Димитрий. Мы вышли. Я чувствовал себя скованно и совершенно не знал, что сказать, с чего, собственно, начать. Некоторое время шли молча. Отец Димитрий, очевидно, понимал, какая тяжесть давит мне на душу. А я знал одно – этот человек должен мне помочь, он – единственный, кто может психологически и духовно меня успокоить. От земли поднимались холод и сырость, деревня спала. Наконец, отец Димитрий тихонько спросил, что меня тревожит. Я не отвечал. Тогда он сам заговорил о том, что слышал о событиях, связанных с "бульдозерной" выставкой. Спросил, продолжаются ли преследования. Голос был спокойный и ласковый. Я пожал плечами: ну как объяснишь, что творилось последние дни с нами и вокруг нас?

— Может, вы сильно кого-нибудь ненавидите? — вдруг спросил он. — Вот это бы не надо. Ненависть — чувство страшное, иссушающее и сильнее всего мучает того, кто ненавидит. Человеку нельзя жить со своей ненавистью...

Он вопросительно на меня посмотрел, и вдруг я неожиданно почувствовал, что — да! Я ненавижу, ненавижу до судорог ничтожного, жалкого, незначительного чиновника из Моссовета, который вел себя особенно нагло, лживо и агрессивно. Я даже толком не мог дать себе отчета, почему я так сильно его ненавижу. И тут меня словно прорвало. Горячо, сбивчиво, путаясь и повторяясь, я стал рассказывать о готовящейся выставке, о том, сколько сил и нервов она у меня забрала, как нас замучили моссоветовские чиновник! Сказал, что боюсь завтрашнего дня, боюсь, что не выдержу четырехчасового стояния среди толпы зрителей... Вообще обо всем ему рассказал.

Отец Димитрий слушал очень внимательно, ни разу не перебил, не переспросил. Потом заговорил мягко и сердечно, приводил цитаты из Евангелия. Казалось бы, ничего особенного он не говорил и повторял вещи, давно известные, но было в его голосе что-то такое веское и целительное, что я сразу почувствовал, как тревога мало-помалу проходит.

— Хорошо, что вы приехали, — сказал отец Димитрий. — Мне очень хочется вам помочь, но дело не в этом. Просто я совершенно уверен, что нет никаких оснований волноваться. Вы сами увидите, что выставка пройдет отлично и все устроится наилучшим образом...

От этих слов на душе стало спокойно.

— Да-да, я вас уверяю — все будет хорошо, — продолжал отец Димитрий и вдруг неожиданно добавил: — Вы знаете, мне кажется, что вам бы нужно креститься.

Я стал говорить ему, что не чувствую себя готовым, что никогда об этом не задумывался.

— Ну, пора возвращаться, — вздохнул он. — Поздно уже, да и ваш шофер вас, кажется, заждался. — Он кивнул на темный силуэт машины, застывшей возле избы. — Завтра еду в Москву и очень вас прошу после выставки зайти ко мне. Я отслужу молебен за успешно прошедшую выставку.

В Москве отец Димитрий жил очень далеко, на самой окраине в маленькой двухкомнатной квартирке. Вся она была уставлена книжными полками. В простенках висели портреты Достоевского, Бердяева, Пушкина и Солженицына. В глубине комнаты маленький алтарь. Отец Димитрий надел рясу, перекрестился и попросил перекреститься нас. Потом повернулся к алтарю и стал читать молитву. Надя Эльская заплакала, Рухин тоже казался взволнованным.

Потом я уже нередко встречался с отцом Димитрием, в том числе и на наших выставках. Мы обменивались несколькими малозначащими словами, хотя тем для серьезного разговора было предостаточно. Я знал, что власти продолжали его преследовать, вскоре он попал

в автомобильную катастрофу. Придти к нему в больницу я так и не сумел. Кем он был для меня? Трудно сказать... Я же являлся одним из многих, кто в тех условиях приходил к нему за духовной поддержкой.

Накануне отъезда за границу я снова вспомнил об отце Димитрии. В предотъездной суматохе, казалось, было не до того, тем более, что я чувствовал себя вполне нормально. Но я вдруг понял, что должен его увидеть. Было около двенадцати часов ночи. В комнате толпилась масса провожающих. Я сказал: "А жаль, что сейчас слишком поздно и уже нельзя съездить к отцу Димитрию..." Сидевшая на диване моя давнишняя приятельница Таня Колодзей тут же откликнулась: "Ничего подобного. Ехать к отцу Димитрию никогда не поздно. Для этого человека времени не существует". Оказалось, что Таня тоже была его духовной дочерью, она тут же ему позвонила.

Отец Димитрий был в курсе наших дел, однако, о том, что я рассчитываю вернуться на родину, не подозревал. "Ну что же, – сказал он. – Это очень хорошо. Каждый из нас должен нести свой крест, и чем большую Господь возложил на человека миссию послужить для развития духовной либо культурной жизни России, тем тяжелее этот крест". Отец Димитрий не порицал тех, кто решил эмигрировать, он понимал, чего стоило многим такое решение. "Если вы сумеете вернуться, – добавил он, – то это станет для других большой реальной поддержкой и тоже подаст надежду на то, что можно поехать и вернуться". Это не было благословением в полном смысле слова, однако, я ощутил эти слова как добрый знак. Я хотел вернуться в Москву, потому что считал это выражением воли свободного человека. Человек должен иметь право на то, чтобы путешествовать, видеть мир... Может, я стану первой ласточкой? Об эмиграции я думал лишь в минуты крайней тоски и отчаяния.

Отец Димитрий выглядел очень постаревшим и усталым, но разговаривал, как всегда, тепло и приветливо. Судьба сводила меня с этим человеком в наиболее критические моменты жизни, но, уезжая из СССР, я надеялся, что снова его увижу. И вот... не получилось. Меня советские власти лишили гражданства, а отец Димитрий Дудко в январе 1980 года был арестован. Доведется ли еще встретиться? Кто знает?..

20 июня 1980 года после шести месяцев предварительного заключения отец Димитрий выступил с "раскаянием" в своей деятельности. Не думаю, что кто-нибудь бросит камень в человека, который восемь лет отсидел в лагерях, потом, будучи священником, столько утешения, надежды и веры дал многим людям, при постоянном давлении сверху, угрозах и оскорблениях начальства, и который едва не погиб при спровоцированном "несчастном случае". Кто знает, сколько стоили ему его "признания" и какой они были трагедией для человека подобной души и характера... Что касается меня, то я испытываю жалость и храню к этому человеку постоянную любовь и уважение.



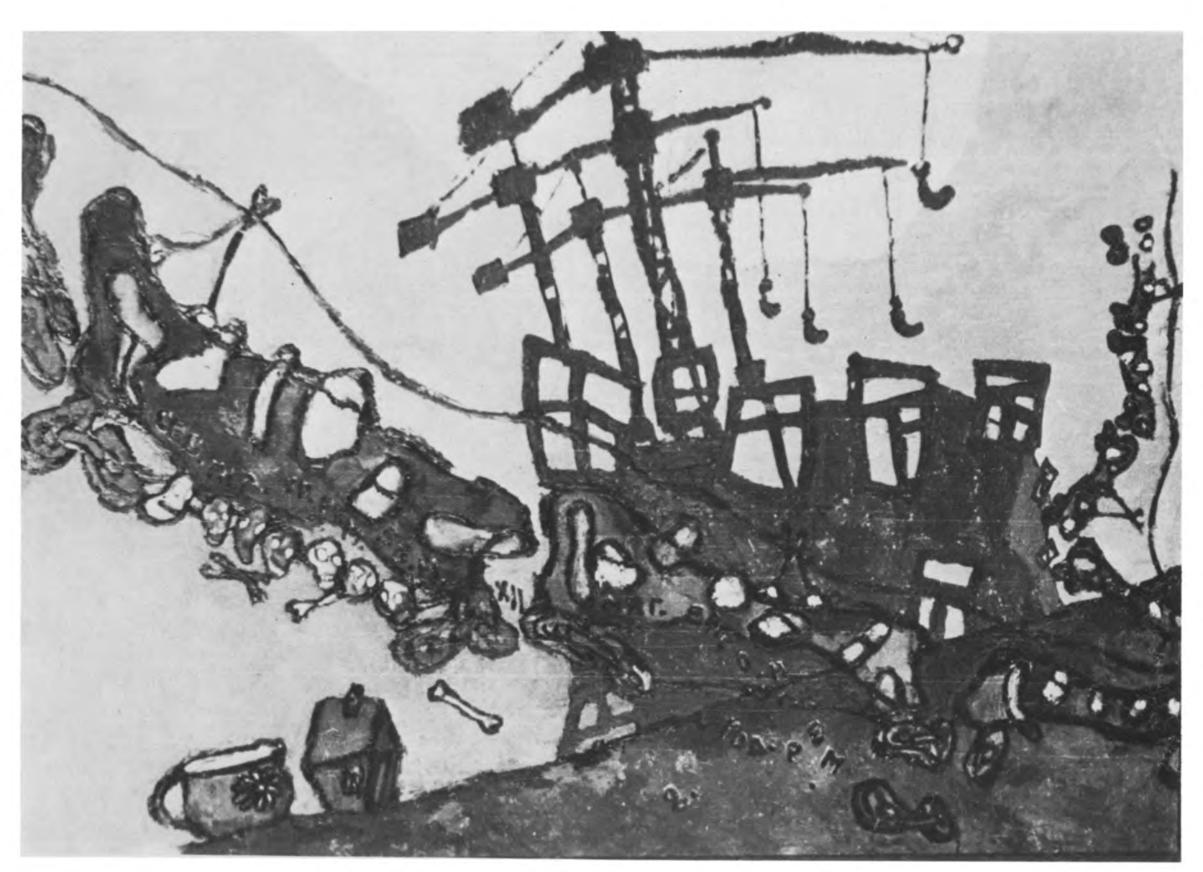
Валентина Кропивницкая и Оскар Рабин, Лианозово, 1956.



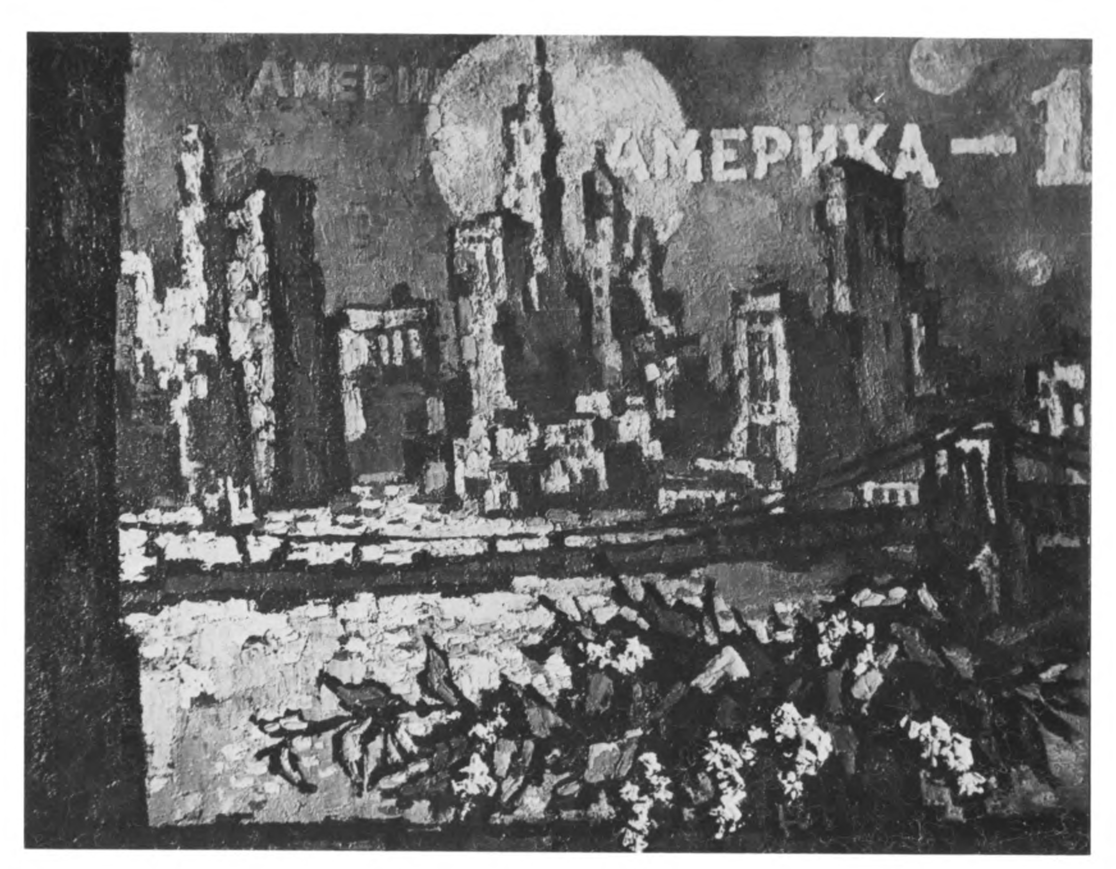
Москва, 1956.



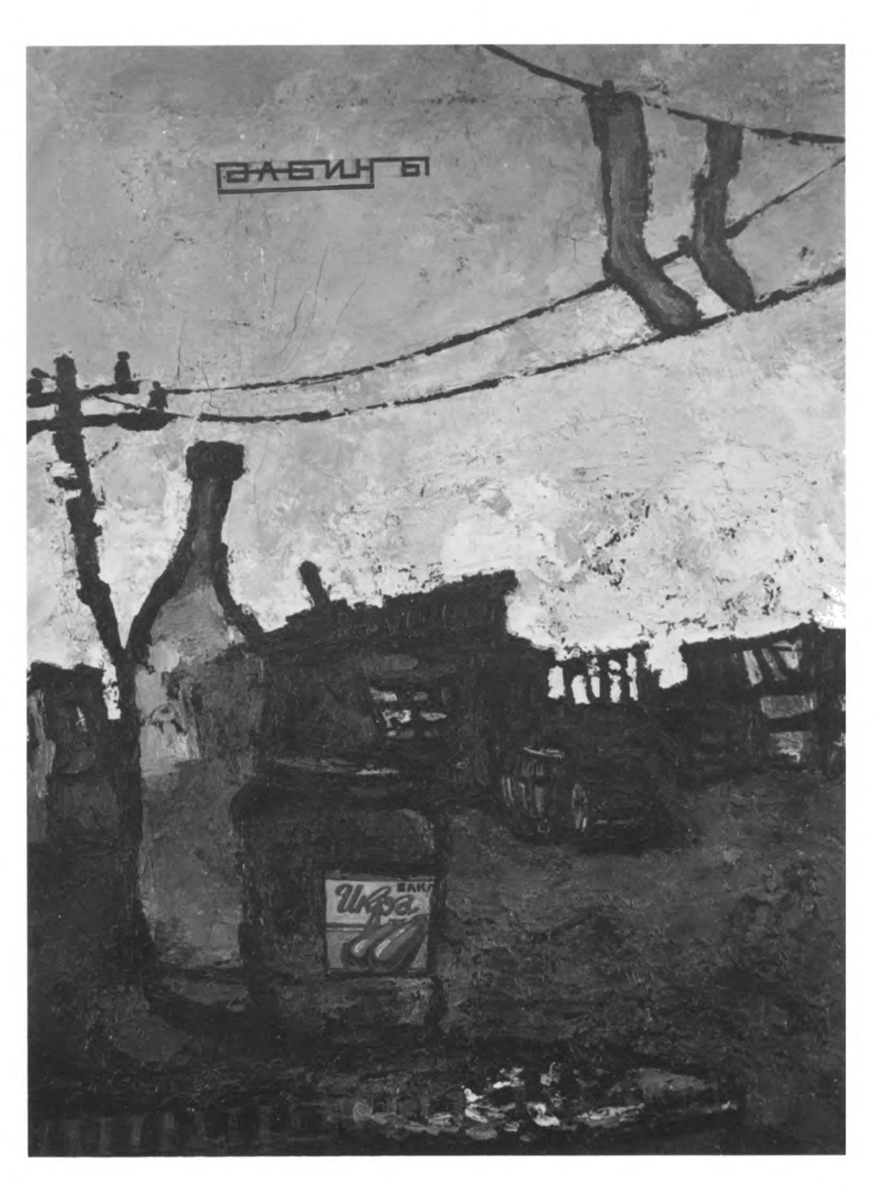
Подготавливается выставка, Москва, Шоссе Энтузиастов, 1967.



«Электричка», холст/масло, 60Х80, 1958.

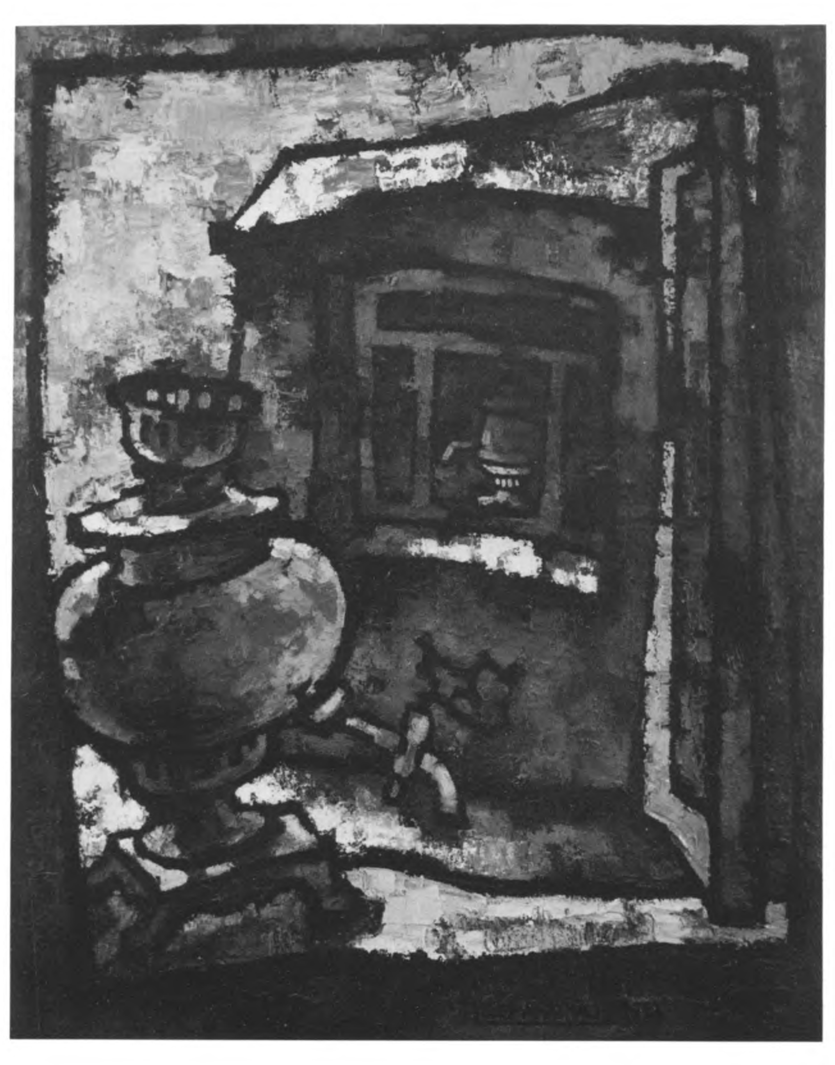


«Америка», холст/масло, 80X100, 1961.

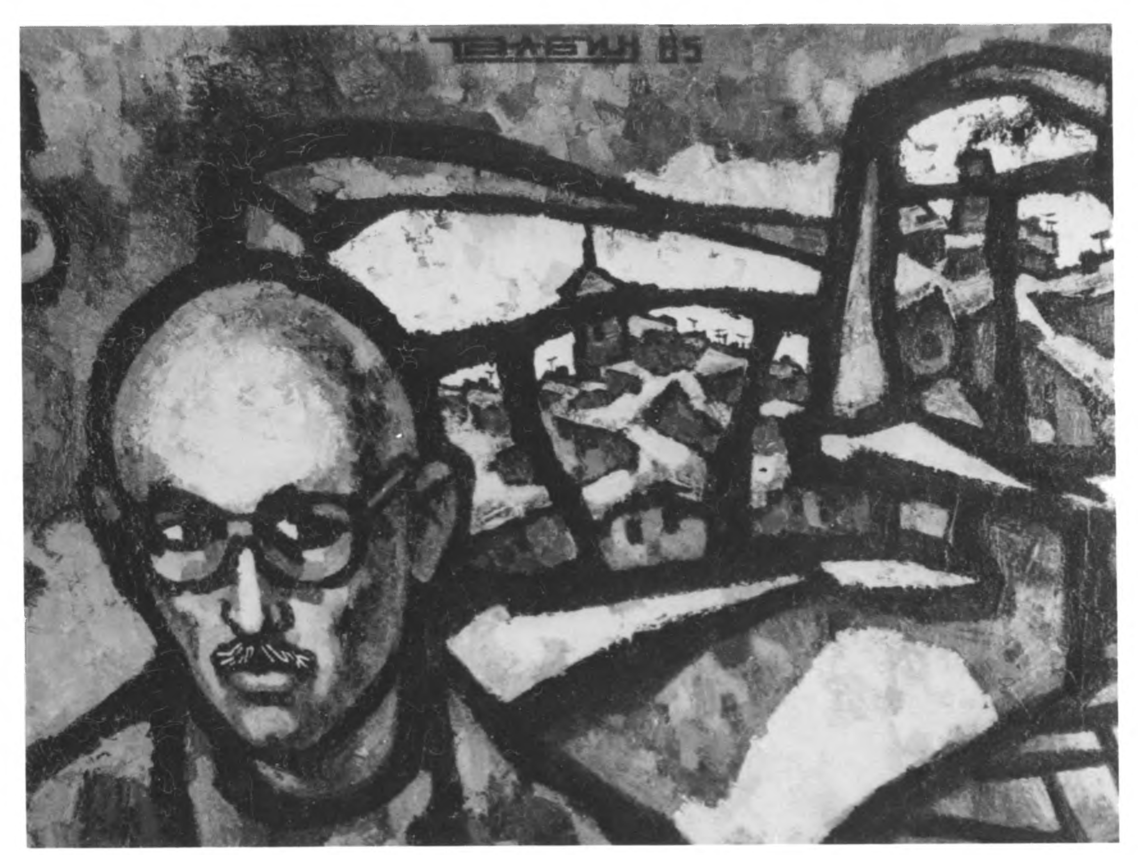


«Лианозовский натюрморт», холст/масло, 50X70, 1961.

«Самовар», холст/масло, 100X80, 1964.



«Самовар», холст/масло, 100X80, 1964.



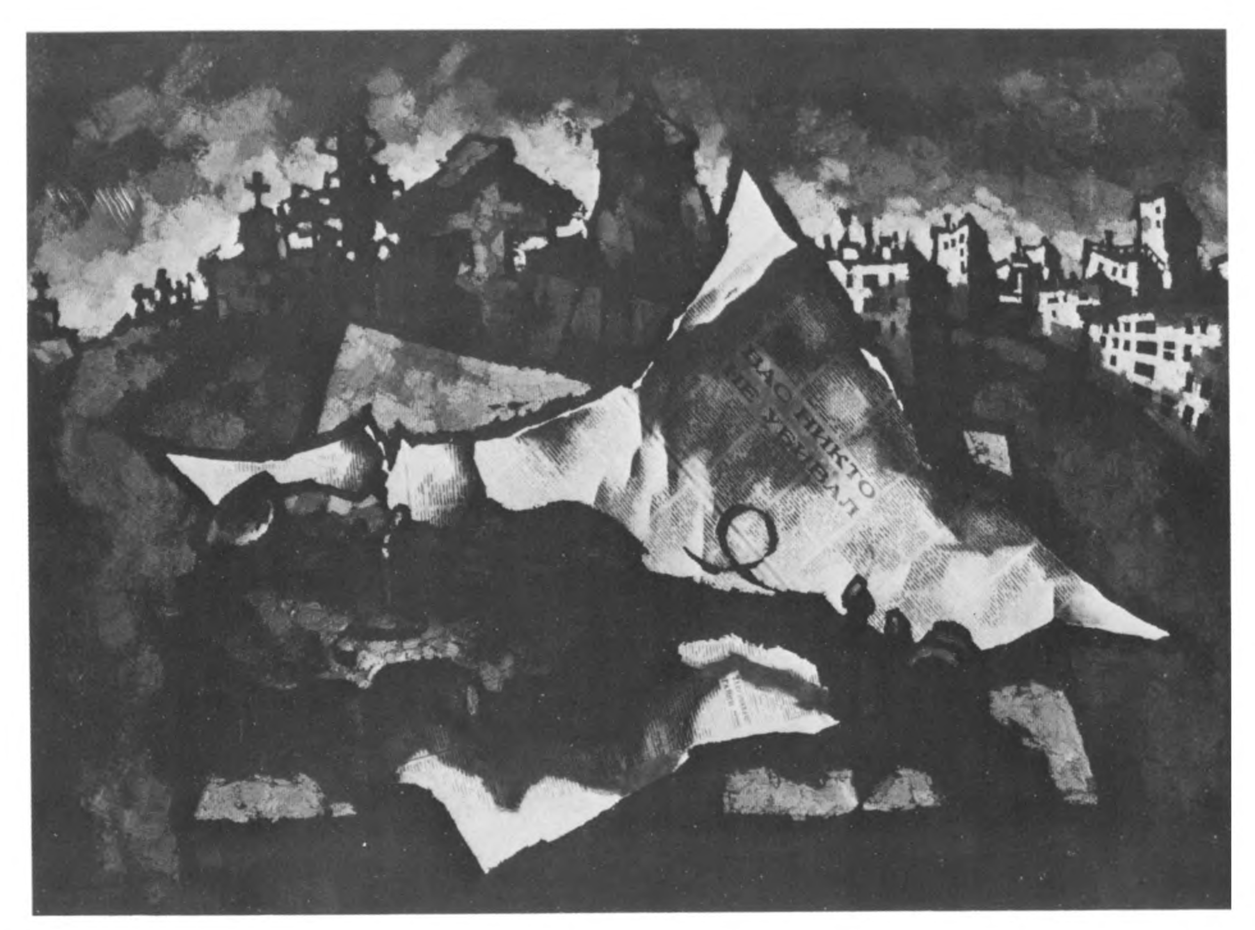
«Автопортрет с золотыми усами», холст/масло, 60X100, 1965.



«Старка», холст/масло, 100 X 80, 1965.



«Дверь № 6», холст/масло, 70Х90, 1966.



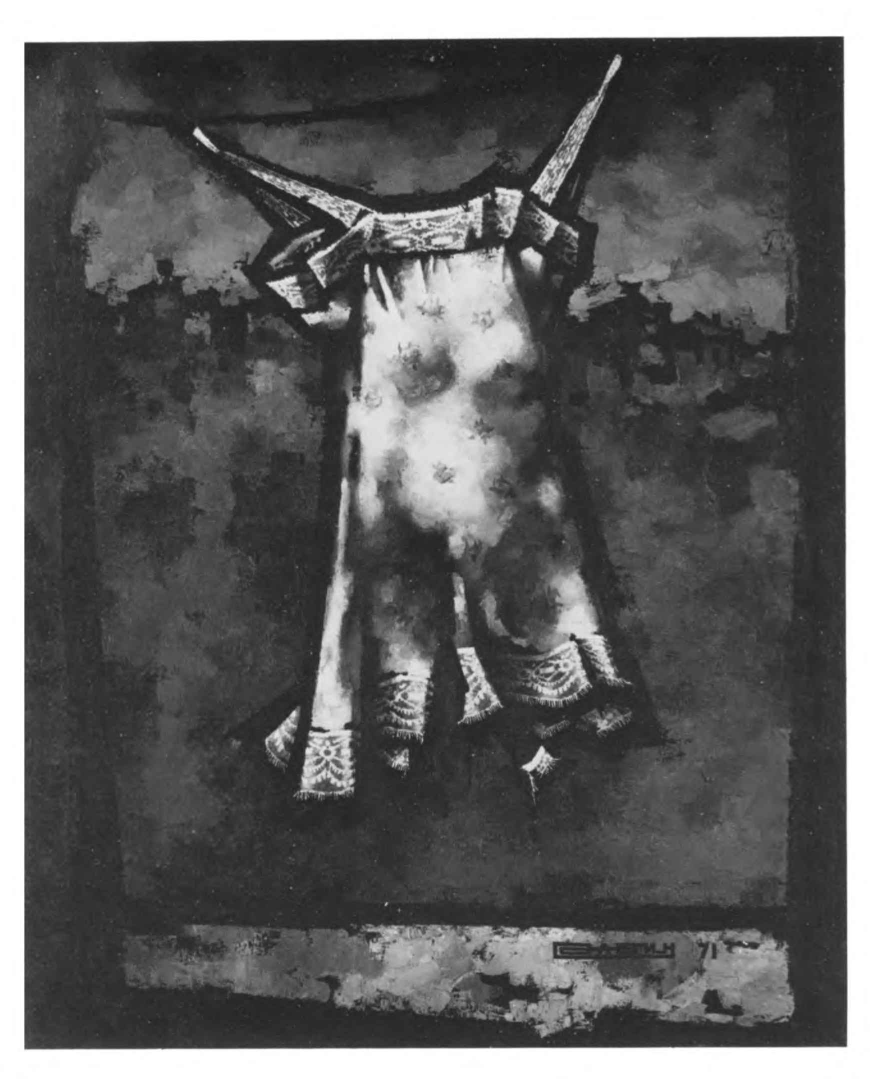
«Скрипка на кладбище», холст/масло, 80X100, 1968.



«Отраженная церковь», холст/масло, 80X100, 1966.



«Тринадцатая улица им. Иисуса Христа», холст/масло, 90X110, 1967.



«Рубашка», холст/масло, 110X90, 1971.

БУЛЬДОЗЕРНАЯ ВЫСТАВКА И ИЗМАЙЛОВО

В 1974 году ставший моим близким другом ленинградский художник Женя Рухин жил практически между Москвой и Ленинградом. Он останавливался у нас, продавал картины, и власти смотрели на это сквозь пальцы. Но после нашего великолепного "приема" в честь Сашиной свадьбы все переменилось. Вскоре к нам пришел милиционер и объявил, что посторонним жить в Москве без прописки больше трех дней не разрешается. Я пошел в отделение оформлять прописку, но не тут-то было. "Нет, – сказали мне, – для временной прописки проживающему требуется командировочное удостоверение, заверенное в милиции и подписанное начальством".

Рухин продолжал жить у нас, и от него, вроде бы, отвязались, зато приставали ко мне. Чуть ли не каждый день являлся милиционер, требуя документов на предмет проживания посторонних, и грозил судом. Вскоре началась осада по другой линии. Непрерывно то в военкомат, то в милицию стали вызывать сына Сашу. Несмотря на то, что он по болезни получил полное освобождение от армии, ему заявили, что он обязан пройти военную службу. Дело с документами об освобождении в военкомате куда-то мистическим образом пропало. В милиции же ему объявили, что так как он нигде не работает, то против него заводится "дело о тунеядстве".

Все явно делалось с единственной целью хорошенько помотать мне нервы. Ночью часто звонил телефон. Угрозы, издевательства, проклятья лились потоком. Я не отвечал, вешал трубку, но звонки продолжались. Иногда мягкий женский голос говорил: "Меня зовут Лена. Вы меня не знаете, но я с вами встречалась и знаю, что у вас есть "Архипелаг ГУЛаг". Я так и не смогла достать второго тома. Не могли бы вы дать мне его почитать..." Эти Лены, Иры, Тани просили у меня запрещенные книги, кокетливо приглашали выйти, чтобы встретиться возле телефонной будки... Когда однажды я попросил "Лену" придти ко мне, она наотрез отказалась, сказав, что "боится перепутать подъезд".

Все эти ночные звонки происходили в периоды напряженных отношений с властями. Как только ситуация улучшалась, звонки прекращались. Чтобы спастись от этой нервотрепки, мы с Женей Рухиным и еще с двумя-тремя друзьями сбежали в Софронцево – единственное место, где я мог придти в себя. Все лето прошло в работе и прогулках по софронцевским полям и лесам, в катании на лодке. В мои владения входила небольшая банька на задах в огороде, где мы, досыта нахлеставшись березовым веником, попивали чаек и пиво и обсуждали самые безумные проекты. Там, в этой баньке, и сложился окончательный план проведения выставки неофициальных художников на открытом воздухе.

Еще никогда у нонконформистов надежда так быстро не сменялась отчаянием, как во время "Бульдозерной выставки". Никогда еще

выставка, практически не состоявшаяся, не получала такого отклика на Западе. Все началось с письма, которое мы направили в Моссовет, чтобы сообщить властям о нашем намерении устроить "показ картин" на московском пустыре 15 сентября 1974 года с 12-ти до 2-х часов.

На следующее утро мне позвонил чиновник из отдела культуры и сказал, что хотел бы поговорить со мной на эту тему лично. Разговаривать с ним лично я отказался, и мы выбрали нескольких человек из числа художников для переговоров с начальством. Такая моментальная реакция властей подтверждала предположение, что благодаря прослушиванию телефонов они были в курсе наших дел.

Во время бесконечных совещаний выдвигались возражения юридического характера, которые легко отбрасывались, потому что в СССР ни разу не организовывались выставки на открытом воздухе, и на этот счет не существовало никаких указаний. Тогда наши собеседники поменяли пластинку. Они объявили, что собираются предоставить для выставки помещение. Но мы-то знали, чего стоят обещания начальства, и не поддавались на приманку. В этом пункте они особенно уперлись, настойчиво советуя нам отказаться от выставки на открытом воздухе. В заключение было объявлено, что все это плохо кончится. Тем не менее формально они выставку не запретили. В конце концов так ничего и не решили. А уходя, мы еще имели наглость оставить им приглашение.

Оставалось несомненным одно: надо быть настороже, и поэтому мы разработали самый настоящий план сражения. Большую часть картин оставили у нашего друга математика Виктора Тупицына, который жил недалеко от пустыря. Многие художники переночевали у него, а остальные должны были прибыть на место небольшими группками с картинами и треножниками в руках. Таким образом, если кого-нибудь даже перехватят, то заберут не всех, и выставка, несмотря ни на что, состоится. Кроме того, сообща решили, что в случае, если кого-нибудь задержат, не спорить и, самое главное, не сопротивляться, потому что это может спровоцировать драку – классический повод для обвинения в хулиганстве. Естественно, мы очень хорошо понимали, что если власти действительно захотели бы запретить выставку, то они ни одному участнику даже не дали бы дойти до пустыря. В то же время казалось, что не может же какая-то выставка стать чуть ли не делом государственной важности и что к нам вряд ли могут применить чересчур серьезные меры. Тем более, что складывалась хорошая международная обстановка – был как раз тот период, когда СССР ждал от Соединенных Штатов статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Барометр показывал такую хорошую погоду, что иностранные корреспонденты у нас даже спрашивали, уж не нарочно ли мы выбрали для выставки именно этот момент.

Многие дипломаты, в том числе послы и их жены, приняли наше приглашение и, зная осторожность властей, мы подумали, что они вряд ли решатся на скандал. Тем не менее утром Виктор Тупицын пошел

проверить как обстоят дела на пустыре. Место, выбранное для показа, находилось недалеко от леса на большой поляне, которая была легко доступна как для машин, так и для пешеходов. Оно выгодно отличалось от остальной части пустыря, загроможденного огромными трубами, которые ржавели в размокшей глине.

Виктор не заметил ничего подозрительного, и художники сразу же выехали, рассчитывая прибыть на метро до двенадцати часов. Наша группка, в которую входили я, Надя Эльская, Женя Рухин и Саша Глезер, почти уверенные, что все пойдет хорошо, спокойно села в метро на станции "Преображенская" и, доехав до нужной станции, направилась к выходу. Но вдруг два человека преградили мне путь. Несмотря на уговор не вмешиваться, Саша тут же бросился ко мне, и его тоже забрали. Нас привели в небольшую милицейскую комнату, какие бывают на каждой станции метро. Как и остальные художники, я открыто нес в руках две картины, однако, как выяснилось, меня задержали по той причине, что у кого-то в метро якобы украли часы (у милиции очень бедное воображение – ничего, кроме украденных часов, они придумать не могут) и что я по описаниям очень похож на вора. Спорить было бесполезно. Приблизительно через полчаса явился человек в штатском и объявил, что мы свободны, потому что их подозрения не подтвердились.

Двенадцать часов давно уже прошли. До пустыря идти не меньше километра. Мы с Сашей шли быстрым шагом, почти бежали. Вдруг в одной из машин, направлявшихся к центру Москвы, мы увидели нашего друга-дипломата с женой, которые показались нам очень растерянными. Они делали руками какие-то знаки, которых мы не поняли, и проехали, не остановившись. На этом месте стоянки были запрещены.

Улица поднималась вверх. Мы добрались, наконец, до места, с которого просматривался пустырь, и перед нами открылся спектакль, который я никогда не забуду. Под моросящим дождем толпились испуганные, сбитые с толку зрители, растерявшиеся художники, собравшись жалкой кучкой, стояли, не решаясь распаковать картины. Всюду виднелись милицейские машины, милиционеров в форме было немного, и они держались в стороне. И наоборот, было много милиционеров, переодетых в штатское, которые держали в руках лопаты. Они легко различались в толпе. Кроме того, стояли бульдозеры, поливальные машины и грузовики с готовыми для посадки деревцами. Происходило что-то совершенно непонятное. Художники объяснили нам суть дела. Им сказали, что на этом месте срочно решили разбивать парк, пустырь нужно подготовить для посадки деревьев, поэтому все собравшиеся должны немедленно уйти, чтобы не мешать трудящимся работать. Они организовали субботник. Тот факт, что субботник устраивался в воскресенье, по-видимому, никого не смущал.

Двадцать четыре художника находились в полнейшей растерянности, не зная, что предпринять. Иностранные корреспонденты, не-

сколько наших друзей-дипломатов и толпа зрителей ждали, как будут дальше разворачиваться события. Мы с Глезером попытались пройти к нашей поляне, где бы художники никому не стали мешать, но нас немедленно окружили бравые молодчики, которые ругались, угрожали и кричали: "Катитесь отсюда вон! Ваши дрянные картины никому не нужны!"

Тогда я сказал, что в таком случае мы будем показывать картины тут же, на месте, сразу распаковал свои картины и, так как поставить их на треножник не было никакой возможности, то я стал держать картины на вытянутых руках. Большинство художников последовало моему примеру. И тут началось что-то невообразимое: у нас вырывали картины, в неразберихе одна их моих работ вдруг пропала, несколько дружинников пыталось вырвать у меня другую, но я в нее вцепился и держал изо всех сил. В конце концов они добились своего.

Другие "трудящиеся" завели бульдозеры, крича, чтобы все немедленно убирались и не мешали им работать. Если что-нибудь случится, они ни за что не отвечают. Тут я увидел, что моя картина, разорванная, валяется в грязи. Бульдозер, рыча, медленно двигался сквозь толпу, люди в страхе шарахались в стороны. Я разозлился и, бросившись наперерез, закричал:

– Ну, давай, езжай, если хочешь!

Бульдозерист, не снижая скорости, вел машину. Тогда я уцепился за верхний край ножа и стал быстро перебирать согнутыми в коленях ногами по собранной бульдозером земле, чтобы меня не затянуло под нож. Тут мой сын и его друг Гена Вечняк бросились ко мне и тоже схватились за нож бульдозера. Дружинники подскочили и отшвырнули их в сторону. На секунду все оцепенели, потом к водителю подскочил человек в штатском и приказал ему остановиться. Однако тот то ли выпил, то ли был слишком возбужден, во всяком случае, он перепутал и,наоборот,нажал на акселератор. Бульдозер взревел и двинулся вперед, загребая землю и сгребая все в свое нутро.

Я не знаю, чем бы все это кончилось, если бы один из американских корреспондентов, человек полный и обычно довольно флегматичный вдруг не рванулся к шоферу и не выключил зажигание. Бульдозер остановился, "трудящиеся" подскочили ко мне и к сыну, чей-то голос прокричал: "Увести!" И нас со скрученными за спиной руками впихнули в стоящую рядом машину. Последнее, что я помню, была Надя Эльская, которая, взобравшись на огромную трубу, кричала, обращаясь ко всем:

– Выставка продолжается! Нам разрешили показывать картины два часа, и мы останемся здесь и будем их показывать два часа!

И еще я помню гигантскую двухметровую фигуру Жени Рухина, одетого, как и все мы, в свой лучший праздничный костюм, которого дружинники, крича и ругаясь, волокли по мокрой развороченной глине.

В отделении, куда меня привели, уже находилось не менее трид-

цати человек, в их числе член Союза художников Алексей Тяпушкин. Мне еще представится случай рассказать об этом замечательном человеке и верном друге, который при самых тяжелых обстоятельствах всегда находился рядом с нами. Благодаря бесстрашному поведению во время Второй мировой войны он стал одним из немногих, получивших тогда звание Героя Советского Союза. Его забрали потому что, придя на выставку как зритель, он требовал, чтобы милиционеры вмешались и прекратили безобразие.

Привели Виктора Тупицына, который находился в ужасном состоянии. Он сопротивлялся "трудящимся", и когда, в конце концов, его втолкнули в машину, блюстители порядка умелым приемом так били его между ногами, что он не мог стоять, плакал и корчился от боли. Теперь Виктор Тупицын живет в Соединенных Штатах, куда ему несколько лет назад удалось с семьей эмигрировать.

Вскоре за мной явились, чтобы перевести в другое отделение милиции. Я очень обрадовался, увидев сына, Надю Эльскую, Женю Рухина и фотографа Володю Сычева. Из пятидесяти человек, задержанных в тот день, мы были единственными, которые должны были предстать перед судом. Нас поместили за барьер и стали по отдельности вызывать в разные кабинеты на допрос. Среди тех, кто меня допрашивал, находился один очень вежливый молодой человек в штатском. Прежде всего он объявил, что не имеет никакого отношения к милиции, но, будучи студентом юридического факультета Московского университета,проходит здесь практику.

– Я вас не спрашиваю, кто вы и что здесь делаете, – ответил я. – У меня свое мнение на этот счет. Но раз уж вы здесь находитесь, то, наверное, имеете право меня допрашивать.

Он сказал очень доверительным тоном:

– Да нет же, зачем допрашивать? Просто-напросто мы вместе поговорим. Вы – очень хороший художник...

– Вам хочется побеседовать об искусстве? – прервал его я.

– Почему вы все время говорите со мной в таком враждебном тоне? Вам обязательно хочется со мной поссориться? – спросил он.

– Да нет, – сказал я. – Только вы видите эту решетку на окне? Так вот, я принципиально не хочу за решеткой разговаривать об искусстве. Если вам хочется говорить о моих картинах...

– Именно! – воскликнул он. – Моя жена несколько раз видела ваши картины, и ей бы очень хотелось к вам приехать, если это возможно.

– Хорошо. Когда меня освободят, пусть она позвонит, и я покажу ей свои картины, как показываю всем, кто ко мне приходит. А до тех пор я не хочу говорить с вами ни об искусстве, ни о чем-либо другом.

На этом наш разговор закончился. Последним, кто меня допрашивал, был полковник, начальник этого отделения милиции. В его кабинете находилось еще три человека в штатском. Один из них заговорил

со мной очень грубо. Я даже не знаю, о чем он хотел со мной говорить, потому что я тут же его прервал и так же грубо у него спросил, по какому праву он меня допрашивает и почему я должен ему отвечать. Другой человек в штатском сказал:

– Он из наших.

Я повернулся к нему:

– Что значит "из наших"? А сами вы кто такой? В этом кабинете имеется лишь одно ответственное лицо – начальник отделения – лишь на его вопросы я стану отвечать.

Тот, который был "из наших", приказал начальнику отделения мне сообщить, что эту ночь я проведу в отделении милиции, а завтра утром должен буду предстать перед судом. Полковник слово в слово повторил фразу, и на этом допрос окончился.

Я сидел вместе со всеми, атмосфера была непринужденной и дружеской, мы старались не унывать и бодрились по мере возможности. Наконец, пришли на свидание наши друзья, которые с трудом разыскали это отделение – никто им не говорил, где мы находимся. Они принесли нам передачу – хлеб с колбасой.

"Студент", "проходя практику", не переставая со всеми шутил и старался быть со мной очень любезным. Так как я весь был в грязи, то он все время упрашивал меня почиститься и предлагал свои услуги. Он считал, что в таком виде неудобно появляться перед судьей. "Студент" оставался с нами до тех пор, пока с нас не сняли шнурки от ботинок, пояса от брюк, не забрали сигареты, спички и прочие огнеопасные предметы, перед тем, как отвести каждого в отдельную камеру.

Моя была размером два пятьдесят на три пятьдесят. Какое-то сооружение вроде настила из твердого картона занимало почти всю камеру, оставляя лишь небольшой проход возле самой двери. Электрическая лампочка под металлической решеткой бросала тусклый свет на грязные серые стены. Растянувшись на настиле, я попытался заснуть, но было очень холодно, и сон не приходил. Возбуждение упало, и я начинал понимать, что все может кончиться двумя-тремя годами лагерей по обвинению в хулиганстве. В то же время я думал, что если за нас заступятся иностранцы и нас вдруг освободят, то неплохо было бы через некоторое время повторить эту выставку. Однако, в любом случае я себе внушал, что я прав и как бы дело ни повернулось, буду вести себя, как человек, который ни в чем не виноват. А они пусть делают, что хотят.

В 7.45 утра нас заставили выйти из камер и, не вернув личные вещи, повезли в "козле" в районный нарсуд. День был промозглый и сырой. Грязные, небритые, волочащие ноги в ботинках без шнурков и поддерживающие спадавшие жеваные брюки, мы превосходно соответствовали тому представлению, которое хотели о нас создать: подонки общества. На суде нас разделили, потому что, хотя мы и шли по одному делу, но судили нас разные судьи.

Стоя в конце коридора за кордоном милиции, я увидел Валю с группой друзей. Через головы милиционеров они нам кричали, что иностранные дипломаты и журналисты, которых на выставке избили и с которыми очень грубо обошлись, обратились с жалобой в Министерство иностранных дел. Друзья сообщали еще и о том, что вся западная пресса и радио посвятили большие статьи и передачи "показу" или, вернее сказать, "непоказу" наших картин, известному отныне под названием "бульдозерная выставка". Потом они стали кричать какую-то, на мой взгляд, совершенно уж несусветную чепуху, а именно – этим вечером меня ждут в мексиканском посольстве. И тут ни с того, ни с сего стоявший неподалеку милиционер в чине капитана громко и отчетливо произнес:

– Успокойтесь, не шумите, пожалуйста! Он будет на этом приеме, ваш Рабин!

Приговор мне еще не вынесли, но я был убежден, что решение спустят сверху. Этот милицейский чин уже откуда-то знал, что меня освободят в тот же день. Он сказал о том, что меня ждут в мексиканском посольстве безо всякой насмешки, и я ему поверил. Естественно, что после всех этих известий я слегка осмелел и даже обнаглел и придумал, как можно подсмеяться над этим, с позволения сказать, судом. Когда меня ввели в зал заседаний, где находилась публика, на вопрос судьи:

– Ваша фамилия!

Я сказал, что ничего, к сожалению, не смогу ответить до тех пор, пока меня не сводят в туалет. Судья (это была женщина) пренебрежительно скривилась и велела меня вывести. После этого меня уже не показывали публике, а провели сразу в комнату для заседаний. Там меня и судили, в прямом смысле слова, при закрытых дверях. Судья сидела за столом одна, без заседателей, и листала толстое дело, в котором наверняка содержалось гораздо больше сведений, чем могли дать истекшие двадцать четыре часа.

– Ну и натворили же вы дел! – протянула судья. – Вот и заработаете три года за хулиганство.

– Товарищ судья, – ответил я с превеликим смирением. – Судите меня по чести, по совести и по закону. Я вам доверяю.

Наступило неловкое молчание. Несколько личностей, которые сидели на стульях вдоль стен, да и сама судья отлично понимали, что я валяю ваньку, однако, возразить ничего не могли. Судья тяжело вздохнула и с сожалением сказала, что я заслуживаю если не трех лет, то уж, во всяком случае, не меньше пятнадцати суток. После чего она приговорила меня к штрафу в двадцать рублей. Меня отвели на первый этаж, где уже находился Рухин, тоже приговоренный к двадцати рублям штрафа, и где за барьером стояли мой сын, Надя Эльская и Володя Сычев, получившие каждый по пятнадцать суток.

Если хорошенько проанализировать и принять в расчет все с нами

случившееся, то можно признать, что мы одержали большую победу. Пока нас с Рухиным еще не отпустили, мы все вместе, коротко посовещавшись, решили, что предложим художникам вновь повторить эту выставку, причем на том же самом месте, так как это важно в символическом смысле, и устроить ее через две недели. Сашка с Надей запротестовали, говоря, что лучше бы сделать выставку, когда их выпустят. Однако мы с Женей сказали, что без них получится даже лучше, потому что мы выставим их картины с фотопортретами и напишем лозунг: "Свободу художникам!" На том и договорились.

Мне казалось, что возмущение международного общественного мнения заставит наши власти задуматься перед тем, как начать свирепствовать на глазах у всего мира. И я, в общем, оказался прав. Однако для внутреннего потребления газета "Советская культура" поместила об этом дне большую статью, красноречиво описывая, как кучка распоясавшихся хулиганов, размахивая отвратительными абстрактными картинами, мешала трудящимся сажать деревья во время субботника и как они набрасывались на дружинников, вырывая у них лопаты.

Перед освобождением от нас с Рухиным потребовали подписать документ, подтверждающий приговор. Рухин подписал и обязался заплатить двадцать рублей. Потом этот документ долго висел у него в мастерской на стене, пока какой-то любитель не купил его по дешевке. Я заявил, что не признаю ни штрафа, ни приговора, в котором меня обвиняют в хулиганстве, хотя, наоборот, я сам являюсь жертвой хулиганства — и отказался платить штраф. Меня, тем не менее, выпустили. Я так никогда и не заплатил этого штрафа. Когда впоследствии женщина-судебный исполнитель явилась за ним ко мне домой и угрожала в противном случае описью имущества, я сумел ее убедить, что, во-первых, не был хулиганом и, во-вторых, пойду на скандал, чтобы не платить штрафа, который не заслужил. Слово "скандал" всегда плохо действует на советских чиновников любого ранга. Для судебного исполнителя и ее начальства это дело было навязано другими, событие происходило не в их районе, и иметь из-за этого неприятности не имело смысла. Поэтому женщина предпочла в присутствии двух свидетелей с моей стороны составить акт, что в моей квартире не обнаружилось ни одной вещи стоимостью в двадцать рублей.

Мой выходной костюм был перепачкан, и на прием пришлось идти в старом. Я надел чистую рубашку, одолжил галстук и отправился. Жена мексиканского посла, увидев нас с Женей, чрезвычайно удивилась, так как была убеждена, что мы еще за решеткой. Иностранцам мы успели сообщить, что нас освободили. Я не удержался и тихонько ей сказал, что через две недели наша выставка повторится.

Вечер в посольстве прошел очень хорошо, нас принимали, как самых почетных гостей. Кстати, еще оставаясь в отделении, мы договорились, что трое осужденных и Женя Рухин объявляют голодовку до тех пор, пока их не выпустят. На этом приеме, как обычно, разноси-

ли напитки и разнообразную закуску. Женя не брал в рот ни капли и на вопросы удивленных гостей отвечал, что держит голодовку и поэтому ни есть, ни пить не будет, пока не освободят его товарищей. Я же говорил, что могу и закусить, и выпить, потому что за свою жизнь успел наголодаться, особенно в войну 1941-1945 года.

Когда мы находились в заключении, на квартире у Саши Глезера, который с самого начала считался у нас ответственным за контакты с корреспондентами, состоялась пресс-конференция с иностранными журналистами, на которой было зачитано обращение в Политбюро с просьбой наказать виновных в происшедшем побоище. Когда мы с Женей вернулись и нам рассказали об этом обращении, мы сказали, что все это очень хорошо, но недостаточно, и что надо обращаться не к коммунистической партии, в которой мы не состоим, а к советскому правительству, потому что мы являемся советскими гражданами.

Собрались все художники, и с общего согласия было написано письмо с адресом: "Москва, Кремль, Советскому правительству", где мы сообщали, что через две недели, 29 сентября, на том же самом месте мы опять устроим выставку и просим правительство, чтобы оно дало указания милиции защищать нас от возможных хулиганов, а не потворствовать им, как это было на первой выставке.

Приблизительно в это время ко мне зашел Виктор Луи, деятельность которого на службе у советских властей хорошо известна. Он пришел, чтобы выразить свое возмущение по поводу безобразной истории с бульдозерами и сообщить, что была образована специальная комиссия для расследования этого дела. "В любом случае, – заверил он, – вы не должны беспокоиться, потому что все складывается в вашу пользу". В общем-то, Виктор Луи знал, о чем говорил, и это была хорошая новость.

Назавтра в срочном порядке были освобождены Эльская, мой сын и Сычев, и через две недели мы устроили наши "четыре часа свободы" в Измайлове. Мое предположение подтвердилось: мы действительно добились победы. Один факт стоит упомянуть особо. Четыре года спустя, как раз накануне отъезда на Запад, я решил съездить на пустырь, посмотреть, хороший ли там разбит парк. Но никакого парка там не было. В точности, как и в день бульдозерной выставки, передо мной расстилался мрачный, грязный пустырь, на котором по-прежнему ржавели никому ненужные огромные трубы. И тогда я подумал, что, может, было бы полезно, чтобы сюда вновь пришли нонконформисты с картинами. Тогда власти вновь организуют "субботник", и пустырь, может быть, в конце концов, озеленят.

Отклики на "бульдозерную" выставку получили у нас, и в особенности, за рубежом, такой широкий размах, что властям пришлось дать задний ход. Совершенно невероятное решение об устройстве выставки безо всякой цензуры и в месте, гораздо более удобном, чем беляево-богородский пустырь, было принято, очевидно, на самом высшем уровне.

По причинам, которые я и сейчас не могу как следует объяснить, художники-нонконформисты смотрели на меня, как на своего лидера, руководителя всего нонконформистского движения. Может, из-за того, что я, стремясь привлечь как можно больше сторонников, никого при этом не обманывал, наоборот: всегда честно предупреждал о риске и опасности всей затеи и о непредвиденных последствиях, которые она может вызвать.

Кстати, не следует думать, что разрешение организовать выставку в Измайлове было дано от чистого сердца. Начальство всячески хитрило и изворачивалось, пытаясь сбить нас с толку и отменить свое решение. Ни с того, ни с сего предложили то, в чем прежде всегда отказывали – крытое помещение для выставки. Соглашались на все – лишь бы заставить отказаться от неприятной для них идеи выставляться на открытом воздухе. К тому же легче было бы контролировать количество и качество работ, ссылаясь на недостаток места в выставочном зале. Каждый день тянулись бесконечные, изнурительные переговоры инициативной группы с начальством. По вечерам у меня собиралось много народу, обсуждали и рассматривали новые предложения властей, определяли линию поведения на завтра.

Наконец, во вторник, 24 сентября вечером мне позвонил помощник председателя отдела по делам культуры Моссовета Михаил Шкодин и официально разрешил открыть выставку в Измайлове 29 сентября с 12 до 4 часов дня. Этот Шкодин, кстати, не только отказывался дать разрешение в письменном виде, но даже не позволял снять с него копию. Обычные штучки наших чиновников, которые не хотят оставлять следы собственных постановлений, боясь "как бы чего не вышло".

Наученные горьким опытом, мы тут же позвонили иностранным корреспондентам, что, мол, официальное разрешение на проведение выставки уже получено, однако для стопроцентной уверенности пусть они сами позвонят Шкодину и получат от него подтверждение лично.

С властями пришлось бороться за каждую мелочь буквально до последнего момента – за точный выбор места, против каких-то ларьков для продажи всякой ерунды, вроде газировки или пирожков с повидлом. Может, эти пирожки ничего опасного в себе не таили, а, может, и был спрятан за этим какой-то подвох.

Предусмотреть требовалось все заранее – и приглашения для иностранцев, и покупку треножников для показа картин, и распределение мест для художников. Их ни много, ни мало набралось больше семидесяти, так что пришлось срочно составлять списки участников и произведений. В последний вечер перед выставкой вдруг сообщили по телефону, что начальство приказало поставить по дороге к выставке специальные заграждения якобы для регулирования потока посетителей. Об этом на переговорах не говорилось ни слова, а барьеры эти – вещь в общем-то опасная: под напором толпы они могли опрокинуться, потом – свалка, а вместе со свалкой и драки, и любые провокации. Написали не-

медленное обращение к начальству (и иностранным журналистам тут же передали), что если барьеры до двенадцати дня не уберут, выставку придется отложить. Наутро заграждения исчезли – добрый знак.

Оповещенные западными радиостанциями, московским "беспроволочным телефоном", который всегда работает безотказно, люди огромным потоком шли на широкую лесную поляну, где мы расставили треножники, а некоторые просто держали их на вытянутых руках. Пораженные зрители останавливались возле каждой картины, подолгу рассматривали, удивлялись, расспрашивали художников, как удалось получить разрешение на такую выставку. Не у всех были, правда, довольные лица. Некоторые морщились, пожимали плечами. Но большинство нас поздравляло, жали руки, выражали надежду на то, что этот толчок даст начало открытому и широкому признанию неофициальной живописи.

Передо мной разворачивалось нечто совершенно исключительное – настоящий праздник искусства, которого люди не видели, начиная с 20-х годов, о котором могли только мечтать и который, подобно чуду, вдруг неожиданно воплотился в реальность! Я стоял на небольшом пригорке, пытаясь увидеть по возможности все, происходящее на поляне. Мало ли что может случиться! Но нет, все тихо, спокойно. Нежаркое осеннее солнце сияет в голубом небе, с деревьев слетают желтые листочки. Художники держатся на редкость дисциплинированно, среди толпы чинно расхаживают наши "ангелы-хранители" в штатском.

Ко мне подскочил возбужденный гебешник и молча показал на часы: уже четыре! Пора сворачиваться.

– Не волнуйтесь, – сказал я. – Все будет хорошо.

И точно: без всяких просьб художники стали складываться. Посетители просили остаться, никто не хотел расходиться. Но мы были своему слову верны. "Четыре часа свободы" кончились.

ГОРКОМ ХУДОЖНИКОВ-ГРАФИКОВ

Через три дня после "бульдозерной" выставки в дверь позвонили. Представился круглолицый, с хитрой физиономией молодой человек:

– Виктор Ащеулов, председатель вашего Горкома. Очень хочется познакомиться, поговорить.

Членский горкомовский билет служил для меня единственным доказательством того, что я не тунеядец, и я аккуратно платил в Горком членские взносы. Однако о том, что у нас сменился председатель, я не знал. Виктор Михайлович Ащеулов оживленно стал объяснять, что теперь, с его приходом на должность, обстоятельства коренным об-

разом переменились. Прежде всего, он выбил для Горкома большое подвальное помещение, которое при желании можно переоборудовать в выставочный зал. Кроме того, он добился расширения полномочий и хочет создать при Горкоме специальную живописную секцию, так что помимо графиков и иллюстраторов, можно будет принимать в Горком и живописцев, не членов МОСХа, устраивать для них выставки и, возможно, продавать их картины. Ащеулов возбужденно бегал по комнате. О, для горкомовских живописцев наступят райские времена, их во всем сравняют с мосховцами – так же будут распределять мастерские, посылать в дома творчества, давать путевки за границу, продавать дефицитный живописный материал...

Я слушал его болтовню и понимал, что власти наконец-то нашли удобный выход для того, чтобы как-то прибрать к рукам нонконформистов. Ащеулов, ловкий и вежливый, когда требуется, и грубый, когда нужно, являлся образчиком новой поросли молодой советской бюрократии, рвущейся к власти. Позже я с ним сталкивался множество раз. Именно Ащеулов одним из первых появился на Измайловской выставке, шнырял повсюду, высматривал, что-то вынюхивал. На него были возложены начальством разведывательные функции.

Он сулил нонконформистам златые горы, делая вид, что ничего не происходит, когда сразу же после выставки в Измайлове начались преследования против ее участников. Некоторым грозили службой в армии, некоторых сажали в психушки. Даже Лидочка Мастеркова, которая годами, никого не боясь, рисовала абстрактные композиции, ни с того, ни с сего получила уведомление, что если в кратчайший срок не устроится на работу, то на нее подадут в суд за тунеядство.

Чтобы хоть как-то противостоять этой кампании, от которой пострадало девять человек, мы организовали Комитет защиты художников, выставлявшихся в Измайлово. Получив сигнал об очередном преследовании, тут же отправляли письма протеста министру культуры, в Моссовет, в КГБ и, конечно, сообщали об этом иностранным журналистам. К сожалению, все было напрасно, если не считать случая с Лидочкой, которую, благодаря просьбам Володи Немухина, Ащеулов зачислил в еще не существующую секцию живописи.

Сам я к тому времени очень устал и решил при первой возможности сбежать в Софронцево. Мы отправились на этот раз с моим другом, ученым-шекспироведом Пинским и художником, Героем Советского Союза Тяпушкиным, который, напомню, очень мужественно вел себя во время "бульдозерной" выставки. Днем мы работали и гуляли, вечерами вели долгие беседы и споры на самые различные темы. Энциклопедические познания Пинского всех восхищали, он рассказывал массу интересных вещей. Слушали мы и передачи западного радио, забиваемого в Москве глушилками и отлично слышимого в далекой вологодской деревне. Днем и вечером все шло ничего. Но ночью меня непрерывно мучили кошмары и, как ни странно, снилось, что я кого-то

предаю. Меня подводят к гигантской, пустой и мрачной пещере с зияющими отверстиями и толкают в одно из них. Ведут узким и сырым проходом. Я пробираюсь вслепую, натыкаюсь на стенки, падая. Наконец, попадаю в другую пещеру, где вдоль длинного стола масса народа, и я узнаю среди них и чиновников из Моссовета, и своих друзей-художников. Возле них снуют какие-то омерзительные чудовища, похожие на огромных летучих мышей со скрюченными лапами. Иногда не было ни пещер, ни чиновников, ни художников, а одни лишь эти нетопыри. Они окружали меня, душили, мучали и требовали лишь одного – предай! Я называл какие-то имена, фамилии, кого-то выдавал, сам не зная, почему и за что, а наутро просыпался в холодном поту от пережитого ужаса. Я никогда никого в своей жизни не предавал, и, тем не менее, сны о предательстве стали для меня настоящим наваждением. Дошло до того, что наяву я уже заранее строил защитительную речь, обороняясь от нападок этих чудовищ из сновидений.

Мало-помалу я все же начинал успокаиваться, кошмары становились все более редкими и, наконец, совсем прекратились. Отдыхать приходилось урывками, я то и дело ездил в Москву, где министерство культуры, напуганное реакцией мирового общественного мнения на бульдозеры, решило проявить лояльность и продемонстрировать готовность сотрудничества с художниками. Если бы Саша Глезер оставался в Москве, было бы легче. Многое я бы мог доверить ему. Но Саша к этому времени был уже далеко. Еще в начале ноября 1974 года гебисты как-то утром ворвались в его квартиру, устроили там обыск, а потом увезли Глезера на Лубянку. Когда он рассказывал, что происходило в течение трех дней на допросах, мне стало ясно, что его хотят вытолкнуть из страны. Саша эмигрировать не хотел, да и мне не хотелось, чтобы он в такое время уезжал. Однако с каждым допросом становилось все яснее, что или ему придется уехать, или его посадят. Если бы случилось последнее, ни я, ни другие художники помочь бы ничем не смогли. Ну, написали бы письма протеста. И что? Все равно Глезер отсидел бы свое, а коллекция его погибла. Поэтому я и многие другие нонконформисты убедили Сашу, что если положение будет безвыходным, то лучше было бы ему эмигрировать, конечно, с картинами и помочь нам, организуя выставки на Западе. Он, в конце концов, согласился и, когда следователь поставил его перед выбором – уезжать или садиться за антисоветскую деятельность, Саша согласился на отъезд при условии, что ему разрешат вывезти коллекцию. А нужно сказать, что существовала инструкция, согласно которой вывозить на Запад картины нонконформистов запрещалось, так как они "искажают представление о советском искусстве". Однако от Глезера так хотели избавиться, что ему тут же после согласия на эмиграцию дали разрешение на вывоз восьмидесяти картин, причем, без пошлины. Остальные четыреста работ ему удалось переправить на Запад еще до отъезда.

Расставаться было грустно. Никто не знал, увидимся ли сно-

ва. В аэропорт его провожало человек двадцать. У нас с ним за эти последние предотъездные дни было переговорено о многом. Саша носился с идеей создать на Западе музей неофициального русского искусства. Я не знал, осуществимо ли это, но, во всяком случае, надеялся, что поскольку после бульдозеров и Измайлова интерес к нам в Европе и в США большой, то Саше с его энергией удастся многое сделать. Кстати, уже через три дня после приезда Глезера в Вену, там открылась выставка картин из его коллекции. Потом пошли выставки в Западной Германии, а в начале 1976 года Саше удалось открыть в Париже музей. В общем, его деятельность на Западе во многом помогала и нам.

Но вернемся в Москву. Начались переговоры о предоставлении для выставки крытого помещения. И конечно же, в это дело немедленно вмешался Ащеулов. Он давно уже вел разговоры о создании при Горкоме живописной секции, теперь же предложил всем художникам не членам МОСХа подавать заявления с просьбой о принятии в эту секцию. Я решил, что как был в секции графиков, так в ней и останусь. А в Горкоме создали художественный совет и выставком, и оборотистый председатель Ащеулов устроил так, что Володя Немухин, Дима Плавинский и Слава Калинин стали в Горкоме членами выставкома. Эти, всем нонконформистам известные художники, становились как бы залогом честности и искренности всего ащеуловского предприятия.

Ащеулов взял в свои руки организацию переговоров с властями относительно помещения для выставки и повсюду говорил, что в ближайшее время добьется для художников большого зала. Власти же согласились предоставить для выставки лишь маленький павильон пчеловодства на ВДНХ, хотя зимой на ВДНХ пустовало множество павильонов, и они могли дать любой.

Совершенно естественно, что находившиеся в павильоне два небольших зала не могли вместить картины всех желающих выставляться художников. Ссылаясь на это, Ащеулов вместе с членами выставкома выбрал всего-навсего пятнадцать наиболее известных художников, что немедленно вызвало в нашей группе целую бурю негодования, споров и разногласий. Теперь вместо прежних теплых дружеских отношений возникла атмосфера недоверия, зависти и недоброжелательства. А это и являлось, собственно говоря, задачей Ащеулова, в этом и заключалась идея создания живописной секции при Горкоме.

Павильон пчеловодства находился в самом дальнем углу ВДНХ и был таким третьестепенным объектом, что до нашей выставки о нем вообще никто не знал. Вот и хорошо – решило начальство, – если будет очередь, никто не увидит. Кроме того, были поставлены специальные

заградительные решетки, которые удлиняли дорогу до павильона, по крайней мере, раза в два. На время открытия выставки курсирование местного мини-автобуса прекратили, так что волей-неволей туда приходилось добираться пешком чуть ли не час.

Отбор картин, проведенный деятелями Горкома, вызвал серьезное недовольство нонконформистов. Получалось, что мы боролись и шли на риск, а плодами нашей победы воспользовались другие художники, которые до поры до времени предусмотрительно держались в стороне. Из выставлявшихся на измайловской выставке в павильоне пчеловодства, включая меня, было представлено только трое. Из-за этой выставки резко разделились точка зрения моя и большинства художников с точкой зрения Немухина, Мастерковой и Вечтомова, которые считали, что выставляться имеют право лишь самые одаренные. Мы же выступали против элитарности – за то, чтобы мог выставляться любой, кто захочет. Ведь в СССР преследуются все нонконформисты – и плохие, и хорошие, значит, для начала они все должны иметь право на выставку. Дальнейшее уже покажет, кто есть кто, и произведет отбор лучших.

Многие из отвергнутых просили также и меня не участвовать в выставке, которая противоречила всем принципам. Я отвечал, что пойти на это не могу, что это – выше моих сил. Я и теперь не испытывал угрызений совести по этому поводу: впервые в жизни я мог видеть свои картины на стенах зала, по которому пройдут зрители; впервые мои полотна будут висеть рядом с полотнами друзей, которых, несмотря ни на что, я любил; впервые реализовалась моя многолетняя мечта, и это было для меня настолько важно, что отказаться от предложения я не мог. Однако когда Ащеулов предложил мне войти в выставком, я сказал – нет. Я передал на выставку картины и пришел лишь на вернисаж. Выставка продолжалась десять дней и имела огромный успех.

СЕМЬ КВАРТИР

Едва закончилась выставка в павильоне пчеловодства, как более сотни художников снова потребовали от властей места, где они могли бы выставляться. Я вошел в инициативную группу для ведения переговоров с начальством. И снова перед нами замаячило сытое лицо заместителя председателя по делам культуры Моссовета Михаила Шкодина. Он объявил, что зал предоставить возможно, но лишь для художников, проживающих в Москве. Моссовет не обязан заботиться о ленинградцах, киевлянах, ереванцах и прочих... Тщетно мы доказывали, что в Москве сплошь и рядом проводятся выставки художников из всех республик и городов Советского Союза. Переговоры были тем более изнурительными, что и в самой инициативной группе теперь царили

постоянная грызня и раздоры. Всегда находились художники, которые считали, что они – самые лучшие и что лишь они способны судить о работе других.

Существовало единственное средство, кроме выставки на открытом воздухе, чтобы могли выставиться все желающие вне зависимости от художественных тенденций и места жительства. Этим средством явились выставки на частных квартирах, разбросанных по всей Москве. Они могли вызвать большое недовольство начальства, однако могли оказать на него и положительное влияние. К примеру, "бульдозерная" выставка проложила дорогу в Измайлово, а та имела совершенно исключительное влияние не только на художников-нонконформистов, но и на всех гонимых и преследуемых во всех областях искусства. Так, любители джаза тоже заявили о своем стремлении свободно выступать перед слушателями. И, как ни странно, комсомол откликнулся на этот призыв. Для молодежи были организованы своеобразные фестивали, проходившие по субботам и воскресеньям далеко в лесу, на поляне, с импровизированной эстрадой, на которую поднимался каждый желающий, и мог петь или играть, что в голову придет... до известных пределов, конечно.

То же самое происходило и в других городах. В Ленинграде художники создали движение, подобное нашему, и требовали разрешить им выставку. Из-за постоянных споров и неуступчивости начальства мы решили действовать. В апреле этого года инициативная группа в Москве информировала Министерство культуры и Моссовет, что художники из разных городов Советского Союза организуют выставки на частных московских квартирах.

Скажу сразу, что найти эти квартиры было очень нелегко. Властям немедленно обо всем доносили, и на хозяев оказывалось давление. Тем не менее мы нашли семь квартир, включая мою. Выставка приняла широкий размах, в ней участвовало больше сотни художников, к которым присоединились даже некоторые члены МОСХа. Среди них особенную активность проявлял Михаил Одноралов. Он не побоялся предоставить в наше распоряжение свою мастерскую. И, наоборот, старые мои друзья – Мастеркова, Немухин, Вечтомов, – удовлетворенные выставкой в павильоне пчеловодства и посулами Ащеулова, – от нас отошли. А я на них не обижался. Ничего не поделаешь... Просто было очень грустно.

Выставка на семи квартирах предполагалась на две недели, разделенные перерывом в десять дней, чтобы хозяева могли передохнуть, да и праздник 1-го мая приходился на это время. Часы открытия намечались так, чтобы по возможности позволить хозяевам вести нормальный образ жизни – с 6 до 8 вечера в рабочие дни и с 12 до 8 вечера по воскресеньям. И распределять картины надо было так, чтобы никто не обижался, потому что квартиры не были равноценными: одни в самом центре, другие на окраинах, одни – маленькие и неудобные, дру-

гие – большие и светлые. Мы составили список квартир с адресами и телефонами, так что зрители могли выбирать выставки, наиболее для них доступные, если не было возможности побывать на всех квартирах.

Еще до начала выставок к хозяевам квартир стали ходить участковые и предупреждать, что будут штрафовать– и это в лучшем случае, ибо наплыв зрителей помешает соседям нормально жить, произведет массу шума и грязи натаскают... Участковые обошли всех соседей и даже жильцов окрестных домов, предлагая сходить на выставку и собственными глазами посмотреть на ту дрянь и гадость, которую там будут выставлять, и потом написать об этом в милицию. Некоторые отвечали, что это их, собственно, не интересует, Другие "по-соседски" являлись, и к ним тут же прибегал участковый и управдом, чтобы собрать необходимые начальству "жалобы и свидетельства".

Сосед по площадке рассказал мне, что отказался писать жалобу. "Но подумайте, – сказал участковый, – они же не имеют никакого права превращать жилой дом в выставочный зал". "А мне это не мешает". "Не может быть! Посмотрите на эту толпу!" "А толпа тем более мне не мешает". Но, конечно, нашлись такие, которые написали все, что от них требовали.

Мы, со своей стороны, сделали все возможное, чтобы не давать повода для обвинений. Во всех семи квартирах находились художники, которым было поручено давать зрителям объяснения и следить за порядком. Во время выставки продавать картины было запрещено, так как обвинений в "незаконной продаже под прикрытием выставки" мы не хотели. Зрителей оказалось очень много. И вели они себя чрезвычайно корректно, исключая, конечно, нескольких "специально подосланных".

Помню, явилась ко мне пара – мужчина и женщина, – которых я видел впервые. Не сказали ни "здравствуйте", ни "до свидания" и сразу подошли к "дежурному", мол, необходимо срочно поговорить с Рабиным. Я привел их на кухню, и женщина объявила, что они являются представителями отдела культуры исполкома нашего района. "Эти картины, – сказала она, – и в особенности ваши, носят антисоветский характер, и мы не потерпим, чтобы они выставлялись". На что я ответил: "Ни я, ни остальные художники, гражданка, не просили на это вашего разрешения, и вы не имеете никакого права запрещать нам что бы то ни было. Что же касается картин, то если компетентные органы установят их антисоветский характер в судебном порядке, то мы понесем за это уголовное наказание. Никакой другой цензуры мы не признаем, и в данном случае ваше мнение никакой роли не играет". Они ушли.

На другой день меня вызвали в милицию, и начальник отделения показал мне целую кучу жалоб и заявлений, полученных от жильцов нашего и соседних домов. "Этого вполне достаточно, – сказал он, – чтобы созвать собрание членов кооператива вашего дома и вас из него

исключить. Вам вернут взнос, но потеряв квартиру, вы потеряете и московскую прописку". Я пожал плечами: "Если у вас есть на это право, то выгоняйте... Что ж я могу сказать?" Раньше, когда меня вызывали в милицию, то разговаривали бесстрастно и даже вяло, как бы выполняя скучную повинность. На этот раз начальник говорил грубо и даже угрожающе: "Ваши посетители нарушают санитарные условия, они бросают окурки и плюют на пол – на площадке, на лестнице, на тротуаре. Пока платите десять рублей штрафа. Потом будет другой разговор".

На квартире Иосифа Киблицкого было по-другому. Он жил у своей приятельницы, квартира которой находилась на десятом этаже добротного дома сталинских времен в центре Москвы. К нему явилась группа инженеров и техников из их исполкома и объявила, что им приказано установить максимальное количество людей, которое в состоянии вынести пол квартиры. Напрасно Киблицкий заверял, что впускает зрителей маленькими группами, чтобы никак не повредить потолок живущего внизу соседа. Тот немедленно прислал в исполком жалобу, что у него треснул потолок. И хотя трещины эти существовали с незапамятных времен, Киблицкий обязан платить за ремонт. Мы решили собрать требуемую сумму, но выставку продолжать во что бы то ни стало. Тогда прицепились к хозяйке квартиры, обвиняя ее, что она в браке с Киблицким не состоит, а посему, поселив у себя чужого мужчину, сама подлежит выселению. Вскоре лифт в часы выставки стал периодически ломаться, так что зрителям приходилось тащиться на десятый этаж пешком. Впрочем, это никого не смутило, и публика поднималась пешком на десятый этаж.

Для Нади Эльской дело обернулось хуже. Специальной комиссии по семейным вопросам при райисполкоме было поручено обследовать, в каких условиях живет ее маленькая дочка Нюша, с отцом которой Надя давно разошлась. Комиссия объявила, что в связи с ненормальным образом жизни, который ведет ребенок в однокомнатной квартире, превращенной в выставочный зал, ребенка надо у матери отобрать и лишить ее родительских прав. Напрасно Надя заверяла, что девочка эти два часа находится у соседей, а все остальное время проводит дома, нормально играет и нормально питается, комиссия осталась непреклонной: лишить родительских прав!

Когда Надя в слезах прибежала ко мне, я почувствовал, что она готова уступить давлению. Ничто до сих пор не могло сломить эту энергичную, мужественную женщину, но когда речь зашла о дочери, она дрогнула. Вскоре пришел ее бывший муж и рассказал, что вот уже несколько дней комиссия уламывает его вмешаться и выступить на их стороне. Мы вместе обсудили ситуацию и решили провести выставку в ее квартире только одну – первую неделю.

Если я так подробно обо всем рассказываю, то лишь для того, чтобы показать методы, используемые властями для запугивания художников и хозяев квартир. В конечном итоге все обошлось: Надю не

лишили родительских прав, меня не выгнали из квартиры, подругу Киблицкого не выселили, и никто не стал платить за ремонт потолка, тем более, что сразу же после окончания выставки сосед забрал свою жалобу. Короче, первая неделя квартирных выставок закончилась благополучно к огромному облегчению художников и, в особенности, владельцев квартир.

Среди выставлявшихся, число которых к концу первой недели достигло ста восьмидесяти, были эстонцы, украинцы, литовцы, армяне и многие другие. Никто не спрашивал, где они прописаны, никто, кроме зрителей, не судил их картины. Мы на себя не брали смелость давать оценку работе наших собратьев.

Десять дней перерыва между двумя выставками были передышкой со всех точек зрения: мы могли оглядеться и подвести итоги. Выяснилось, что некоторые владельцы квартир, не выдержав давления, отказались предоставить помещение, кое-кто колебался. В конце концов, у нас осталось пять квартир, но с большей площадью и лучше расположенных. В общем-то мы находились на пределе сил, однако отказываться от затеи не собирались. Начальство, зная об этом, не оставляло нас в покое и вполне могло случиться, что какие-то из угроз они осуществят.

Прошли официальные празднества 1-го мая. Второго мая меня уже вызвали в милицию и сказали, что если выставка будет продолжаться, то меня ждет очень серьезное наказание. Позвонил Ащеулов и попросил к нему зайти. Почти час он убеждал меня не начинать вторую часть выставки. Наконец, исчерпав все аргументы, очень просто объявил, что если снова предоставлю свою квартиру для экспозиции, меня исключат из Горкома. Я понял, что нажимают, в основном, на меня, потому что если я закрою квартиру, то остальные немедленно сделают то же.

Он повел меня в соседнюю комнату, где навстречу поднялась женщина средних лет. Она представилась как председатель профкома при Моссовете и тут же начала мне внушать, что веду я себя как антисоветчик – мало того, подавая дурной пример, наношу вред своим товарищам. Но, кроме того, порчу карьеру председателю Ащеулову, этому энергичному, многообещающему организатору, которому доверено создание секции живописи при Горкоме графиков и иллюстраторов. Я понял, что на этот раз они что-то предпримут, но так как решение принято было давно и бесповоротно, то просто ответил:

– К сожалению, помочь ничем не могу. Я предоставил квартиру для проведения выставки и назад своего слова не возьму.

– В таком случае вы будете исключены! – сухо произнесла председательница.

Несмотря на то, что остальных владельцев квартир также пугали – либо по месту работы, либо в милиции, в день вернисажа все наши выставки открылись. Публики было очень много и, вопреки опасениям, вторая часть выставки прошла спокойно – не явилось ни единого

чиновника, ни единого милиционера. Уже на следующий день после закрытия выставок меня вызвали в Горком для рассмотрения моего "дела". Ащеулов открыл заседание и объявил об исключении некоторых членов Горкома, в числе которых назвал и мое имя. Как потом выяснилось, исключение остальных художников оказалось простой формальностью, ибо одни из них были приняты в МОСХ, а другие, перешли в другой профсоюз. Два художника, Комар и Меламид пришли на это заседание и пытались меня защитить, но, конечно, из этого ничего не вышло.

Официальная причина моего исключения – отсутствие иллюстраторской работы для издательства.

– Разве неправда, что в течение трех лет вы не работали как иллюстратор? – спросил Ащеулов.

– Вы отлично знаете, – ответил я, – что вовсе не это является причиной моего исключения. Известно, что многие художники, не работая на издательства, тем не менее состоят членами вашего Горкома. Просто вы хотите поставить меня в такое положение, когда милиция могла бы говорить со мной как с тунеядцем и соответственно себя вести. Впрочем, поступайте, как знаете.

Ащеулов стал объяснять, что едва лишь живописная секция начнет функционировать, я сразу могу подать заявление... Но я-то знал, что живописная секция практически уже функционировала и многие художники в ней уже состояли.

– Да, – с иронией прибавил он, – мы знаем, что вы боретесь за право всех художников участвовать в выставках. В начале мы выступали против этого, но сейчас признаем, что вы поступали правильно, и теперь мы сами будем выставлять всех, но, конечно, руководить ими.

Это обещание осталось, естественно, пустым звуком. Когда в сентябре Моссовет согласился на десять дней предоставить для выставки помещение Дворца культуры ВДНХ, то снова было объявлено: участвовать имеют право только москвичи. В этой выставке я участвовал, но по требованию начальства в ее организации участия не принимал. Одновременно ленинградские власти тоже "пошли навстречу" ленинградским художникам и предоставили им помещение на десять дней в сентябре.

Наступала годовщина "бульдозерной" выставки, и начальству требовалось во что бы то ни стало сорвать любые выступления в память этого события. Власти недаром назначили выставки в Москве и Ленинграде так, чтобы они пришлись на 15 и 29 сентября – дни выставок на Беляевском пустыре и в Измайлово. Многие художники хотели отметить эти даты повторением выставок на открытом воздухе. Но было объявлено, что те, кто посмеет в эти дни выставиться на улице, не будут в дальнейшем приняты ни на одну выставку. Кончилось тем, что только ленинградский художник Филимонов пришел на Беляевский пустырь и показал одну свою маленькую картину нескольким иностранным корреспондентам.

Так была отмечена первая годовщина бульдозерного погрома 15 сентября 1974 года.

ВЫСТАВКА МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ВДНХ

Инициативная группа вела с Моссоветом переговоры по поводу выставки во Дворце культуры ВДНХ. Не состоя в инициативной группе, я уехал в Софронцево, однако, естественно, находился в курсе всех дел. Среди ста пятидесяти желавших выставиться было образовано несколько групп – в том числе группа концептуалистов, художников-хиппи и членов МОСХа, которых возглавлял Миша Одноралов.

Я вернулся в Москву за несколько дней до вернисажа. С организацией выставки оказалось много хлопот. Выяснилось, что огромный зал Дворца культуры совершенно не приспособлен для выставок. Требовалось все устроить и, кроме того, самостоятельно развесить более семисот картин. На развеску же дали всего два дня, развешивать картины приходилось днем и ночью. "Ничего, ничего, – говорило начальство. – Вы люди привычные. Только выставками и занимаетесь, вот и потрудитесь хорошенько!" Мешали во всем, в чем могли. К примеру, чинили непрерывные трудности в предоставлении пропусков для провоза картин по территории ВДНХ, ждать разрешения приходилось часами. И еще. На предыдущих выставках властями выделялся специальный день для иностранных дипломатов и корреспондентов, чтобы те не выстаивали в огромных очередях. А на этот раз каждому художнику дали всего по несколько пропусков, и из этого скудного количества нужно было выделить сколько-то, чтобы провести знакомых журналистов и дипломатов.

За два дня до вернисажа я привез картины. По залу, кроме развешивающих, бродили какие-то незнакомые мужчины и женщины. Когда я начал вешать свою картину, ко мне подошел один из незнакомцев и сказал, что меня кто-то поджидает у входа. Я вышел из павильона, но никого не увидел, а когда хотел снова войти, два молодых человека с повязками на рукавах преградили дорогу. Вмешалась инициативная группа, стали просить, чтобы меня впустили. Им ответили, что никого из посторонних пускать не велено. Наконец, позвонили Шкодину. Тот отказал:

– Мы составили специальный список, – сказал он, – Рабин не имеет права входить и выходить из павильона, потому что его в этом списке нет.

Я уехал. К полночи развеску закончили, двери Дворца культуры закрыли и опечатали. Наутро прибывшие первыми художники удостоверились, что печати остались нетронутыми, однако, заглянув в окна, увидели, что целый ряд картин со стен исчез. Позвонили Шкодину и

узнали, что сорок картин, носящих "порнографический и антисоветский" характер, он приказал убрать. А печати по его приказу сняли, а потом поставили обратно.

Открытие намечалось на 12 часов. Я пришел к одиннадцати, а у входа уже полным-полно народу. Художники, особенно те, чьи картины убрали, ругают начальство на чем свет стоит, все возмущаются самовольством Шкодина. Но вот пробило двенадцать. Приказано впускать только по пятьдесят человек, но едва двери отворились, как толпа рванулась вперед, опрокинула барьеры, и все ринулись в зал, и с билетами, и без билетов.

Художники тут же в знак протеста стали срывать со стен картины. "Неизвестные", которые толклись в зале еще до открытия, кричали, что это хулиганство, что надо арестовать нарушителей! Но поздно — половина картин уже лежит на полу. Зрители недоуменно переглядывались. Пришло начальство, и всех погнали к дверям. Художников заставили выйти через запасной выход. Большинство выставлявшихся, в том числе и я, не успели войти и сгрудились перед главным входом. А изгнанные толпились за барьером и не имели права к нам присоединиться. Появился Шкодин и принялся нас стыдить: "Где ваша совесть! Вы добились выставки, и вы же ее нагло сорвали!". Поднялся крик. Тогда Шкодин спросил: "Хотите вы, наконец, выставку или нет?!" "Конечно! — закричали все. — Только пусть возвратят снятые сорок картин". Шкодин ответил, что все снятые картины опять не повесят, но он согласен обсудить каждую из них и выслушать аргументы за и против.

Мы понимали, что начальство вряд ли решится на закрытие выставки в подобной атмосфере, когда, наоборот, делается все, чтобы показать западным корреспондентам, как оно заботится о неофициальных художниках. Время шло. Никто не понимал, почему художникам, не успевшим войти и изгнанным из зала не дают соединиться. Начались обсуждения и переговоры по обе стороны барьеров. Зрители тоже кричали и возмущались, спрашивали у милиционеров, когда же, наконец, начнется выставка. Те улыбались и советовали внимательней слушать "Голос Америки".

Наконец, объявили, что злонамеренная группа хулиганов сорвала выставку, но большинство художников возмущено и хочет продолжения экспозиции. Для этого каждый должен подойти к Шкодину и лично заявить, хочет он участвовать в выставке или забрать свои картины и уйти. Никто не пошевелился.

Тогда выдвинули новое предложение: товарищ Шкодин ждет для обсуждения о снятых картинах выбранную художниками инициативную группу из трех человек. Выбрали Тяпушкина, Нагепетяна и меня. Обращаясь ко мне, Шкодин сказал:

— Ну, что ж, Оскар Яковлевич любит дохлых кошек. Не понимаю только, почему у советской публики должны быть подобные вкусы?

Шкодин имел в виду картину художника Волоха, на которой была

приклеена коробка с находившейся в ней высушенной и выкрашенной кошачьей шкурой. Квалифицированная как "патология" картина была убрана с выставки.

— Не имеет смысла, — сказал я, — превращать в фарс серьезное обсуждение. Речь идет не о моих или чьих бы то ни было вкусах, а о том, как исправить совершенную вами серьезную ошибку.

Шкодин сделал недовольную гримасу и спросил, почему художники не захотели придти к нему "демократически" — по одному. Я сказал:

— Вы, товарищ Шкодин, — не следователь, чтобы допрашивать нас в индивидуальном порядке. Гораздо лучше было бы, если б вы обратились ко всем и объяснили, почему самовольно, без предварительного обсуждения с нами сняли картины. Мы требуем, чтобы экспозиция была восстановлена в прежнем виде.

Спорили долго, но отстоять все было невозможно. У меня из пяти работ сняли три. На одной был изображен пограничный столб и по одну сторону границы — современные блочные дома, а по другую — летящие в небе избушки, которые поднялись для того, чтобы приземлиться уже за границей. Одна из избушек, так и не завершив полета, развалившись, лежала на земле. Кроме того, сняли картину с паспортом и, наконец, "Кладбище", где среди солдатских могил с пятиконечными звездами на обелисках, выделялась могила с шестиконечной звездой Давида и надгробный памятник со скульптурой распятой обнаженной женщины. Оставили "Портрет Нади Эльской" и "Осенний деревенский пейзаж". Скульптура из папье-маше Волоха под названием "Семья" была отвергнута, ибо "оскорбляла чувства советских матерей". Никакого "оскорбления" там не было и в помине. Наоборот, вещь была достаточно трагической — с отрубленными головами мужчины, женщины и ребенка. Под предлогом "эротизма" сняли работу одного из членов Союза художников. На картине изображалась широкими мазками написанная комната, в которой смутно вырисовывалась постель и спящие мужчина и женщина. В особенности возмутила Шкодина картина еврейского художника, ныне покойного, с надписями на еврейском языке.

— Мы не можем выставлять картины с надписями, — доказывал он, — если нет перевода на русский язык. Кто знает, что они там понаписали!

— Так мы переведем, — ответил я.

— А мы вовсе не обязаны вам доверять! — Шкодин распалялся все больше и больше.

— Тогда заставьте ваших сотрудников перевести.

Шкодин с полнейшей серьезностью принял мои слова и сокрушенно вздохнул:

— Времени нет! К тому же перевод должен пройти цензуру.

— Но это же не печатное произведение! Ведь до сих пор никто же не носил картины в Главлит! Или, к примеру, иконы... Ведь не носите же вы из Третьяковки цензурировать переводы с древнеславянского на современный русский язык.

Шкодин посмотрел на меня исподлобья и буркнул:

– Не знаю, не знаю!..

Концептуалисты представили красное двухметровое панно с надписью: "Качайте красный насос!" Рядом с панно действительно стояли два настоящих насоса, красный и черный, один из которых олицетворял коммунистические идеи, а другой – капиталистические. Любой из присутствующих имел возможность покачать каждый из насосов и таким образом выразить свои симпатии. Все это, конечно, было отвергнуто. Никакие доводы, что ничего дурного в данном случае не имелось в виду, не помогли. Напрасно мы пытались отспорить и другое произведение концептуалистов под названием "Гнездо". Это было именно гнездо полутора метров в диаметре с двумя надписями: "Внимание, идет эксперимент!" и "Высиживайте яйца!" В глубине гнезда находилось два или три здоровенных яйца, а на стене фото показывало трех авторов "Гнезда" в процессе высиживания. При виде "Гнезда" Шкодин окончательно вышел из себя, стучал кулаком по столу и непрерывно повторял: "Какой возмутительный спектакль!"

Группа художников-хиппи выставила полтора метра на два – вышитое знамя. Это были лозунги хиппи за мир, любовь и за охрану природы. Посреди знамени возвышался пересеченный крест-накрест пограничный столб, который венчался лозунгом "Мир без границ!"

Вокруг этого "Знамени" разгорелся особенно яростный спор.

– Советскую границу уничтожать нельзя! – кричал разгневанный Шкодин.

– Да ведь здесь речь идет о границах между людьми, которые нужно уничтожить, чтобы люди стали любить друг друга, – возражал я.

– Ничего подобного! Здесь изображен пограничный столб.

Я сказал:

– Вот я не коммунист, товарищ Шкодин, а вы – коммунист, и в соответствии с вашим учением рассчитываете, что наступит день, когда весь мир станет коммунистическим. Тогда тоже нужны будут границы?

Шкодин даже привстал со стула:

– Да, границы будут всегда! К примеру, сейчас между социалистическими странами ведь существуют же границы. Мы с этими странами в дружбе, прекрасно, но границы наши стережем и будем стеречь особенно бдительно!

Все-таки после двухчасовых споров мы этот самый "Мир без границ" отвоевали, и это была одна из немногих побед на протяжении целого напряженного дня! Замечу тут же, что на другой же день это знамя исчезло, и больше мы его никогда не видели. Еще в Измайлове художники-хиппи выставили вышитую картину, на которой изображался земной шар и воткнутый в него шприц с надписью "Счастье". Помнится, властям тогда очень не понравилась идея подобным образом осчастливить земной шар. Хиппи очень хотели, чтобы я вошел в их группу, но я, проведя ладонью по своей лысой голове, наглядно пока-

зал им, что никак не могу быть членом группы "волосатых".

Но вернемся к переговорам. Они тянулись и тянулись. Наступал вечер. У нас же с утра во рту ни крошки не было. Время от времени мы выходили и говорили художникам, толпившимся на улице, как идут дела. Все устали, были возбуждены, всех раздражали шнырявшие в толпе типы, которые в открытую подслушивали и записывали на пленку наши разговоры, а некоторые, не стесняясь, фотографировали собравшихся.

Наконец, Шкодин и его присные согласились выставить тридцать одну картину из сорока. Среди окончательно отвергнутых фигурировали и три моих, но я с самого начала сказал, что отстаивать их не собираюсь. Мне казалось гораздо важнее выставить тех, у кого все работы отвергли. У меня же оставались две.

Здесь я хочу сделать маленькое отступление, чтобы рассказать о событии, имеющем отношение к нашей выставке. Когда я вернулся в Москву из Софронцева, ребята мне рассказали, что художника Эдуарда Зеленина, который жил в деревне под Владимиром, арестовали и посадили на пятнадцать суток "за хулиганство".

Эдик учился в Ленинграде, а ленинградские художники хотели включить его работы в свою выставку как "своего". Однако ленинградские власти этому воспротивились. Тогда Эдик захотел выставиться в Москве, где он снимал в подвале маленькую мастерскую. Но в Москве отказали как не москвичу. Он настаивал, а власти на него злились. Впрочем, им были недовольны уже с тех пор, как он подал в ОВИР документы с просьбой о поездке за границу. Он получил тогда приглашение от Миши Шемякина месяц погостить у него в Париже. В ОВИРе Зеленину, конечно же, отказали, но ни с того ни с сего предложили подать другое заявление – не о временной поездке, а об окончательной эмиграции: "Вы ведь не хотите возвращаться! Скажите правду, и мы пересмотрим ваше дело". После долгих колебаний Эдик принял решение эмигрировать. И тут они снова отказали. Так Эдик попал в разряд "отказников". И тогда он объявил, что в знак протеста устроит выставку в годовщину "бульдозерной" на пустыре! Его тут же посадили.

Мы любили Эдика Зеленина и хотели ему помочь. Но как? Писать письма в разные инстанции? Толку мало. Обратиться к иностранным корреспондентам?.. Неплохо, однако недостаточно. У меня появилась идея использовать день вернисажа для оказания давления на власти. Мы решили объявить второй день выставки "днем заключенного Зеленина". Все выставлявшиеся должны были прикрепить к отвороту пиджака значок с надписью "Свободу Зеленину!" и собирать у зрителей подписи в его защиту.

Но это предполагалось сделать завтра, а сегодня в 6 часов Шкодин поднялся и сказал, что отклонение девяти картин дело решенное и что он больше пальцем не двинет для продолжения переговоров. Я вышел к ребятам: либо отказывайтесь от выставки, либо принимайте предло-

жение Шкодина. Тут ко мне подошел художник Нагепетян и сказал на ухо:

– Надо что-то сделать для Зеленина. Предложите художникам не выставлять девять картин в обмен на освобождение Эдика. И сделать это должны именно вы, потому что вас художники послушаются больше, чем меня, например.

Я согласился и обратился к художникам:

– Кто выступает за отказ от показа девяти картин в обмен на освобождение нашего товарища Эдика Зеленина?

Все заорали, зашумели. Большинство высказалось "за". Сообщили об этом Шкодину.

Приблизительно через полчаса вдруг объявили, что Зеленин отбыв положенное наказание, освобожден и что поднимать вокруг его ареста шум – чистейшей воды провокация. Тотчас же поползли слухи, что я знал заранее об освобождении Зеленина, а устроил всю демонстрацию единственно ради саморекламы.

Позже мы узнали, что произошло. Зеленин должен был отсидеть еще шесть суток, однако в день вернисажа, часов в двенадцать, к нему пришли и объявили о досрочном, к двум часам дня, освобождении. Мы, естественно, сидя практически взаперти и находясь в непрерывных препирательствах с начальством, ничего об этом знать не могли. Начальство же прекрасно знало, что мы готовим назавтра. В конечном итоге, может, именно наша мысль об организации на второй день выставки "кампании за освобождение Зеленина" сыграла роль в его досрочном освобождении?

Шкодин сократил длительность выставки на день, обвинив нас в устроенном в первый день "саботаже" и категорически отказавшись от разговоров о каком бы то ни было продлении. Необходимо было срочно развесить снятые картины, и около тридцати добровольцев всю ночь занимались развеской, чтобы назавтра к двенадцати выставка могла быть открыта. Надо сказать, что картины, которые мы с таким трудом отстояли у Шкодина, провисели только один день, а потом исчезли. Так что наша победа оказалась эфемерной. Однако ни у кого уже не было сил начинать все сначала. Только хиппи не поленились вышить новый флаг и вновь вывесить его. Власти опять его сняли. Ну, а выставка, что ж... Публика шла непрерывной толпой, зрители выстаивали в очереди часами и глядеть на это было очень приятно.

Уж не помню, кому в голову пришла идея, которая любому искушенному в советских порядках человеку сразу показалась бы абсурдной. Мы решили написать в ОВИР заявление с просьбой разрешить нам, художникам, коллективную поездку в ряд стран, включая Соединен-

ные Штаты, Канаду, Францию, Италию, Югославию и Польшу. Цель поездки – ознакомление с творчеством западных коллег и показ на Западе наших работ. Мы отказывались от положенного туристам обмена советских денег на западную валюту. Мы были уверены, что сумеем заработать эту самую валюту благодаря продаже собственных картин. То есть, если каждый продаст две-три взятых с собой картины, то этих денег вполне хватит на первое время. В дальнейшем в процессе работы будут создаваться для продажи новые картины, так что в смысле заработка наше существование будет обеспечено. А чтобы не терять времени зря, – добавлялось в заявлении, – весьма желательно, чтобы въездные визы в означенные страны начали оформляться уже сейчас. Заявление в ОВИР подписали ленинградцы Рухин, Овчинников, Жарких, москвичи Надя Эльская, Иосиф Киблицкий и я.

О нашей затее мы рассказали иностранным корреспондентам, и западные радиостанции вскоре передали об этом на русском языке. Что тут поднялось! Поверив в немыслимое чудо, ко мне ринулась толпа художников с просьбой, чтобы их тоже подключили к списку. Мы объясняли, что писали свое заявление только в расчете на соответствующие статьи нашей Конституции, а также пункты Хельсинкских соглашений, разрешающие гражданам свободу передвижений. Идея, может быть, безумная. Так ведь и "бульдозерная" выставка тоже была своего рода чистейшим безумием. Однако из нее вдруг вышел толк. Лиха беда начало! Художникам, вроде, не оставалось ничего другого, как тоже обращаться с просьбой в ОВИР. Однако, они решили все же подождать и посмотреть, чем кончится дело.

Мы же приняли все это совершенно всерьез и горячо обсуждали детали и длительность поездки. Сошлись на том, что надо просить визу на шесть месяцев. Оптимист Юра Жарких уже обдумывал, как бы половчее обмануть таможню, чтобы провезти побольше картин. Мы предполагали, что при свойственной советским чиновникам бюрократии пройдет несколько месяцев, прежде чем нам ответят , но вдруг, к моему изумлению, уже недели через две раздался звонок из ОВИРа. Звонила женщина-инспектор и просила меня срочно явиться к ней.

– Мы никогда не принимаем коллективных заявок, – сказала она, – так что ваше заявление в его нынешней форме совершенно неприемлемо. Каждый должен написать от себя лично... Но учтите, что и эти письма мы сможем принять, если у каждого будет приглашение из указанных стран. Не обязательно от близких родственников, – добавила она. – Затем каждый должен представить рекомендации с места работы: от парторганизации, месткома и дирекции.

Я сказал, что у большинства из нас нет официальной работы, и поэтому мы при всем желании не сможем предоставить требуемых документов. Инспекторша пожала плечами:

– Ну что ж, в таком случае ничем не могу помочь.

Мы послали письмо в Министерство внутренних дел, в котором спрашивали, почему у нас не приняли коллективную заявку, хотя за

границей сплошь и рядом туристы ездят в любую страну группами по 15-20 человек. Нас же всего только восемь. И почему, к примеру, художник, который хочет всего-навсего видеть произведения других художников, должен быть обязательно кем-то приглашен? И почему мы обязаны предъявлять рекомендации от парткома, если никто из нас не является членом партии? И так далее, и так далее... Мы считаем, – заканчивали мы свое послание, – что по закону имеем право на эту поездку, так что причины отказа нам абсолютно непонятны.

После этого письма мне опять позвонили из ОВИРа и повторили то, что сказали в первый раз. Тогда мы письмо, адресованное в МВД, передали иностранным корреспондентам, чтобы лишний раз показать Западу, под каким замком нас держат в СССР.

После всех этих событий зашевелились художники в Горкоме. Уж не знаю, по этой ли причине или по простому совпадению, но организовали там во главе с Ащеуловым коллективную поездку в Польшу. В числе допущенных были Немухин и Плавинский, так что впервые наши художники-нонконформисты пересекли границу СССР. Само по себе это уже было событием, хотя все и знали, что "курица – не птица, Польша – не заграница". Ребята побывали на многих интересных выставках, посмотрели экспозиции Шагала и Клее. В Польше они убедились, что местные художники гораздо свободнее советских. Не говоря уже о чисто творческих возможностях, которые им предоставлены, некоторые даже имеют контакты с иностранными галереями и, кроме всего прочего, могут без особых препятствий ездить за границу.

Поездка горкомовцев длилась две недели и вызвала массу разговоров, споров и обсуждений. Все участники были в полном восторге, тем большим было наше удивление, когда через неделю Немухин один вернулся в Москву. Оказалось, что Володя затосковал, его стала мучать ностальгия. Сначала он терпел, а потом плюнул на все и уехал. Нам он объяснил, что – да, действительно, все было очень здорово, очень все было интересно, но так уж он устроен, что заграница, видно, не для него. К примеру, он давно мечтает о Париже, и, если бы пустили, то поехал бы, конечно. Но через неделю тоже бы сбежал...

Наше заявление о коллективной поездке как в омут кануло – даже следов на воде не осталось. Никто нашему примеру не последовал, но произошел любопытный факт: несколько художников захотело эмигрировать, и вскоре им выдали, и евреям, и русским, визы на выезд в Израиль. Что ж, этих людей вполне можно было понять. Сколько же можно сидеть, затаившись в подполье, тайком рисовать, создавать свои картины, потом продавать их из-под полы? И так изо дня в день, из года в год. До Измайловской выставки такая жизнь казалась нормальной. Ведь другой мы не знали. Но, глотнув свежего воздуха "четырех часов свободы", до чего же невыносимо вновь возвращаться в свои норы. А подобные "четыре часа свободы" – мы это твердо знали – не повторятся уже больше никогда!

Раньше я уже писал, что не хотел эмигрировать, но иногда охватывала такая черная тоска, что, казалось, не только бы за границу уехал, но с моста в речку кинулся. Если даже жизнь за границей будет нелегкая, то там я, по крайней мере, смогу свободно показывать и продавать свои картины, и вообще, как вздумается, распоряжаться собственной судьбой.

Мне не скупились давать советы. Одни говорили, что не следовало забывать истинную свою природу художника даже не русского, а советского.

– Ты чувствуешь русскую природу! Наши деревни, церквушки... и в то же время понимаешь душу современных советских городов с их новостройками, блочными домами. Нет, ты именно современный советский художник! И что же случится с тобой на Западе? Как нарисуешь ты, к примеру, Собор Парижской Богоматери? Он, конечно, замечательный, но ведь он же французский! А душа у тебя русская.

Другие были убеждены, что власти специально предпринимают все возможное, чтобы сделать для меня жизнь в России невыносимой и, таким образом, вынудить к эмиграции.

– Ты плохо кончишь, если останешься, – говорили они.

Плохо?.. Что значит – плохо? В тюрьме?.. В ссылке?.. В это почему-то не верилось.

К концу 1975 года милиция занялась мною с удвоенной силой. Теперь мне приходилось ходить в отделение чуть ли не каждый день – практически, как на службу. Сашку то и дело вызывали в военкомат, уверяли, что досье с его документами потеряно и никаких следов свидетельства об освобождении его из армии нет. В конце концов, его вынудили лечь в больницу, где после медицинского обследования заявили, что он годен к военной службе.

В это время в Горкоме художников Ащеулов организовывал живописную секцию. И как всегда у нас дело тянулось страшно медленно, но теперь я начинал думать, что устраивалось это специально. Ащеулов принимал все новых и новых членов. Казалось, он хотел охватить по возможности всех нонконформистов. А что им оставалось делать? Одних преследовали за тунеядство, других – за хулиганство, третьим не давали ордер на квартиру, которая ожидалась годами. И Ащеулов вмешивался, заступался, обещал. Расскажу о характерном случае с Володей Куркиным.

Молодой, тридцатилетний художник, он участвовал во всех наших "диких" выставках, помогал, чем мог, постоянно развешивал картины. Руки у него золотые – за что ни возьмется, все у него всегда получалось. Он часто прибегал ко мне, и мы болтали о том, о сем, обсуждали наши проблемы. Однажды на улице на него напали незнакомые парни. Тут как тут оказавшиеся милиционеры схватили его и составили протокол, где утверждалось, что он якобы ударил милиционера. Бедный Куркин клялся и божился, что ничего подобного он не совершал. Тем не менее, началось следствие по делу об избиении милиционера

при исполнении служебных обязанностей. Адвокат сказал, что пахнет тремя, а то пятью годами. Судья то и дело вызывал Володю на собеседование. Парень замучался и измотался вконец, и когда, что называется, окончательно дошел до ручки, его вызвал к себе Ащеулов.

– Подавай заявление с просьбой о приеме в Горком, – сказал он, – и поверь моему слову, – тогда они все от тебя отвяжутся.

Тот подал заявление в живописную секцию. Через недели две по установленному порядку является к судье. Того нет. Назавтра – то же самое. Адвокат намекнул, что, мол, если судьи нет, то и не надо беспокоиться до нового вызова. Короче, Ащеулов это дело замял. Взял Куркина на поруки, а тот стал тише воды, ниже травы. Он перестал ко мне приходить, ни о каких "диких" выставках больше не заикался и вообще боялся сказать лишнее слово. К следователю Куркина больше не вызывали, зато в Горкоме не раз выставляли его работы.

Или вот еще случай с художником Линицким. Человек глубоко верующий, он писал картины, как правило, на религиозные сюжеты. Ащеулов даже выставлял иногда его работы с изображениями церквей, скорбных монахов или толп верующих на религиозных праздниках. Когда Горком стал распределять мастерские, Линицкий, который жил очень далеко от Москвы, попросил, чтобы его включили в список.

– А почему ты об этом просишь? – спросил Ащеулов. – Ты просишь *у нас* мастерскую, чтобы писать в ней иконы? Ну, нет. Так дело не пойдет. Вот когда станешь *другое* писать, тогда обращайся с просьбами.

Вскоре Линицкого предупредили, что картины на религиозные сюжеты Горком больше выставлять не будет. Итак, Горком начал осуществлять свою цензуру...

ИЗГНАНИЕ ИЗ СОФРОНЦЕВА

Однажды летом 1976 года я получил письмо от устюженского райисполкома. Приглашали зайти. Надя Эльская, купившая развалюшку на краю Софронцева, получила такую бумажку тоже. Председательница, женщина доброжелательная к нам, избегая смотреть мне и Наде в глаза, заявила, что мы должны уехать из Софронцева навсегда. Что же касается принадлежащих нам изб, то мы можем их продать или увезти с собой, так как земля принадлежит колхозу, и по словам председательницы получалось, что колхоз хочет вернуть эту землю обратно.

Собственно, направляясь в Устюжну, мы уже знали, что нас ожидает. По дороге зашли к председателю софронцевского сельсовета, мужику открытому и честному. Он сказал, что ничего лично против нас не имеет и упрекнуть ему нас не в чем, и что если бы только от него зависело, мы могли б хоть до самой смерти жить в Софронцеве.

– Мне эта земля на кой черт нужна? – сказал он. – Но меня заставляют это делать. Я это к тому говорю, чтобы вы знали, что это не

я вас выселяю. Но если из Москвы звонят в райисполком с приказом о вашем выселении, то сами понимаете, что я ничего не могу сделать, и с моим мнением никто не посчитается.

Мы его поблагодарили, пожали от души руку и отправились в Устюжну. Там, у председательницы я даже не стал спорить. Я просто спросил, как это можно реально развалить избу и увезти с собой бревна, чтобы освободить участок?

– Не я это придумала, – нахмурилась она. – Но я могу разрешить вам остаться до осени, чтобы управиться с делами. Скажите еще спасибо, что к вам хорошо относятся, а то и вовсе могли бы отобрать дом. Тут они вспомнили про Вронского, еще одного москвича, писателя, который жил в Софронцеве, купив у колхоза бездействующую школу. – Вронский, тот может здесь жить, – со вздохом сказала председательница и добавила, что раньше колхоз и вовсе не разрешал продажу домов городским.

Она замолчала. Я понял, что на Софронцеве можно поставить крест. В общем, это был для властей один из способов отомстить, и мера – не из крайних. Ведь меня ничего не стоило выгнать из Москвы. Могли посадить, могли отправить в ссылку. Нет, в их задачу входило усмирить, запугать, заткнуть мне рот. Отсюда их постоянные угрозы забрать сына в армию, отсюда непрерывные обвинения меня в тунеядстве. Ну, что еще можно придумать? Ага, у него есть дом в деревне, он этот дом любит – вот мы его и отберем. Трагедия, конечно, невелика, но нервы потрепать можно.

Никогда не смогу передать той радости, которую подарило мне Софронцево за три с половиной года, которые я там прожил. Не успели мы там купить дом, как я сразу стал уезжать туда из Москвы при первом удобном случае. Когда издерганный частыми вызовами в милицию, угрозами, я добирался, наконец, до Софронцева, то достаточно было нескольких дней, чтобы я снова мог придти в себя, был в состоянии жить, работать и радоваться жизни.

Как странно... Нигде я не чувствовал себя таким свободным, таким спокойным, как в этой маленькой, затерянной среди лесов, рек и болот деревушке. Мы ездили туда в любое время года, во всякую погоду, всегда нагруженные, потому что в Софронцеве, кроме картошки и плохо выпеченного хлеба ничего достать было невозможно. Приготовления начинались недели за три до отъезда. Даже в сравнительно хорошо снабжавшейся Москве нелегко было достать 10 килограммов колбасы, которую давали по килограмму в одни руки. Избегав с десяток магазинов, закупали мы всякого рода консервы – рыбные, овощные, фруктовые. Покупали муку, рис, гречку. Покупали также килограмма три мяса и четыре или пять куриц, а если повезет – гуся.

Летом и ранней осенью из-за жары мы привозили меньше скоропортящихся продуктов, потому что в деревне ни у кого не было холодильников. Привозных продуктов хватало приблизительно недели на две, на три. Потом питались картошкой, черным хлебом и молоком.

Когда начинались грибы, приносили домой целые корзины – варили, жарили, солили – и ели столько, что потом не могли на них смотреть.

Несмотря на то, что около деревни были две речки, рыбы в магазине почти не бывало. Иногда завозили мороженую, соленую, в общем-то мало съедобную. Ловить в реке разрешалось только удочкой, и рыбнадзор был очень строгим. Тем не менее время от времени колхозники занимались браконьерством и тогда солили и сушили пойманных сетями щук и лещей.

А вот как мы добирались до Софронцева: от Преображенки до Савеловского вокзала ехали на двух такси. Ходил лишь один поезд в сутки, отправлялся в 17.00 Часов за десять одолевал он 400 километров до печального маленького городишки Пестово, то и дело останавливаясь на бессчисленных товарных станциях и полустанках. В Пестове, куда мы прибывали часа в два ночи, по идее должен был находиться автобус. Однако его почти всегда приходилось долго ждать. А иногда он, наоборот, отъезжал до прибытия поезда, и тогда нужно было ждать следующего. На дорогу до Устюжны (километров пятьдесят) уходило часа три. От Устюжны до Софронцева было еще километров десять.

Оставшийся путь мы с нашей неподъемной поклажей пешком одолеть не могли. Приходилось искать попутку. Весной и осенью дороги превращались в настоящее месиво, так что никто из шоферов ради каких-то двух-трех рублей не хотел с нами связываться. А когда им предлагали десять или пятнадцать, то шоферы принимали нас за сумасшедших и тоже отказывали. Так и сидели, бывало, по нескольку часов, пока нас не подбирала какая-нибудь добрая душа. Позже, когда купили моторку, добираться до Устюжны стало гораздо проще. Чертовски усталые, но счастливые, часам к трем дня мы приезжали, наконец, в Софронцево.

Моя изба находилась на главной деревенской улице (а их и всего-то было две), на пригорке, и из наших окон открывался великолепный вид на поля, речку и хвойный, всегда зеленый лес. Хозяева, молодые муж с женой, которые продали нам избу, жили в Устюжне, где ему удалось устроиться механиком на лесопилке. Ни эти муж с женой, ни остальная деревенская молодежь не хотели жить в деревне.

Давая разрешение на покупку дома, председатель колхоза предупредил, что права на землю, на которой стоит дом, мы не имеем – она колхозная. Не имеем, значит, не имеем. Зато дом до чего хорош! Выложив 950 рублей, мы стали обладателями просторной избы с пристройками – хлевом и свинарником, а также небольшой баньки над старицей, которую весной заливало. Подобно всем софронцевским избам, наша состояла из двух половин – "зимника" с двойными рамами, где жили зимой, и "летника", где жили летом. Две огромные русские печки занимали почетное место как в зимнике, так и в летнике.

Мы сломали все внутренние перегородки, превращавшие избу в несколько куриных клеток, и превратили зимник в одну большую сорокаметровую комнату, а летник в две – по 26 метров каждая.

В дополнение к русской печке, которую долго приходилось топить, мы выложили другую, кирпичную, с двумя большими железными трубами, которые тянулись вдоль всего потолка и, быстро нагреваясь, сразу давали тепло. Мы разжигали печку, едва входили в дом, но холод в нем стоял такой, что первую ночь всем приходилось спать одетыми.

Зимой, после лыжной прогулки, усталые и продрогшие, мы рассаживались возле печки. Пламя мечется, искры снопом взметаются вверх и уносятся в трубу, пылающие поленья постепенно становятся похожими не то на фантастических птиц, не то на сказочных гномов. Глядишь на эту красоту часами, и все заботы, тревоги и горести словно улетучиваются с дымом. Такое запоминается на всю жизнь.

Огромную радость приносила нам и банька, в которой мы мылись раз в неделю. Вот уже десять лет как в Софронцево провели электричество, у каждого уважающего себя колхозника – телевизор, у колхозного бригадира даже телефон. А вот водопровода нет и не предвидится, да, вроде, и нужды в нем особой нет.На деревню есть три общественных колодца. Когда один пересыхает, приходится ходить с ведрами метров двести к другому.

Около двух дня мы начинали топить баню, таскать дрова и воду для большого котла, где она выкипала довольно быстро и надо было добавлять. Топили так, что в бане дышать было трудно Мытье начиналось не раньше девяти вечера. Под самым потолком находился полок, куда мы залезали париться. На раскаленные камни плескали то московским пивом (местное страшно воняло), то можжевеловой водкой. Подымался густой пахучий пар, а мы поочередно хлестали друг друга березовыми вениками. Когда весной пересохшее русло старицы рядом с банькой заливало водой, мы, распаренные, пулей вылетали из парилки и бросались в ледяную воду. Зимой прыгали прямо в сугроб. Нередко мы, человек пять мужчин и женщин, оставались в баньке до самого утра. Ставили самовар, пили водку. Разговаривали, спорили – иногда до самого рассвета.

В Москве, в состоянии постоянной взвинченности, я порою был не в состоянии работать. Заставлял себя стоять перед мольбертом, по десять раз писал и переписывал одну и ту же картину и никакого удовлетворения не получал. В деревне же сразу натягивал полотно, устанавливал поскорее мольберт и готовил краски. Мне не терпелось поскорее приняться за работу.

В каком бы состоянии духа я ни находился, я знал, что бесполезно ждать, когда к тебе явится вдохновение. Надо встать у мольберта и начать писать. Иногда возникает особое состояние, когда все получается само собой, когда кисть ходит по полотну словно без твоего участия. Это и есть, наверное, вдохновение. Но со мной так случается редко. Чаще всего я делаю и переделываю начатое, вечно недовольный тем, что получается. Порой я вовсе уничтожаю почти готовую картину.

Для меня главное не результат работы, а самый ее процесс. Я люблю выбирать и накладывать краски, сгущать их, добавляя песок или,

наоборот, делать пожиже, добиваться матовой поверхности или более блестящей. Люблю подскребывать, подчищать...

Наша изба была всегда забита полотнами — начатыми, незаконченными, только что загрунтованными, стоящими на мольберте, повешенными на стенах, прибитыми к потолку. Деревенские приходили на них поглядеть. Вряд ли они видели в них что-нибудь вразумительное и уж совсем не понимали, кому эта мазня может нравиться. Вообще-то они редко говорили о картинах, исключая бригадира, который был пообразованней других. Большинство баб и мужиков были малограмотными. Их интересовало одно: за сколько я продаю свои картины?

Признаюсь, когда я думал об их нищенском заработке, мне было стыдно называть сумму. Бригадир — тот задавался вопросами артистического порядка:

— А почему у тебя снег не белый? Ты ведь знаешь, что он белый, а?

Крестьяне, кстати, очень интересовались нашей жизнью и приходили к нам, как в театр, — дверь никогда не запиралась — без предупреждения, без стука. Бывало, работаешь или читаешь, или просто сидишь за столом. Дверь открывается, и входит баба. Она останавливается у притолоки и долго молча стоит. Ни здравствуйте, ни до свидания. Если ее приглашаешь зайти, отрицательно качает головой. И так она стоит 20-30 минут, потом исчезает так же неожиданно, как появилась.

Сначала подобные визиты нас угнетали, но потом мы привыкли и не обращали на них никакого внимания. Наш образ жизни удивлял деревенских и наверняка им не нравился. В их избах полы до блеска начищены, мебель стоит городская. А у нас в зимнике — грубый самодельный стол да несколько топчанов с тюфяками, набитыми сеном. Днем на этих тюфяках сидят, а ночью спят. Когда приезжало много гостей, то на топчаны ложились не вдоль, а поперек, чтобы уместилось побольше народу. Имелся еще невзрачный буфетик для посуды и несколько разномастных стульев. Коротковолновый приемник, чтобы слушать иностранные "голоса" (здесь они не глушились), дополнял обстановку.

Зимой бывало тесновато, но, как правило, никто не мешал друг другу. Для каждого находилось дело: кто пилил и колол дрова, кто таскал воду, кто готовил обед, кто читал, кто играл в шахматы или просто болтал с соседом.

Весной, летом и ранней осенью большим неудобством было неисчислимое количество мух и комаров, с которыми мы вели беспощадную борьбу. В Москве, где только могли, доставали защитные средства, но их было недостаточно и раздобыть их было трудно. В районе Софронцева большие болота, на которых росла клюква — дополнительный источник дохода для колхозников. А так как существовал план осушения этих болот, то они были недовольны и ворчали по этому поводу. Наш сосед, москвич Вронский, страстный экологист и защитник девственной, нетронутой природы, с присущим ему пылом бросился защищать болота и даже отправил в "Литературку" статью

о необходимости поддерживать равновесие в природе. Он писал также о том, что клюква составляет важнейший предмет экспорта за границу и приносит стране доход в иностранной валюте.

Клюква росла километрах в восьми от деревни. Выходя из дома в темноте и возвращаясь, когда солнце садилось, муж с женой, вдвоем, собирали, примерно, килограммов шестьдесят. Вечером клюкву перебирали, а наутро несли в единственный в деревне магазин, к заведующей тете Зое, которая давала рублей тридцать-сорок в зависимости от веса. Работа тяжелая, но и деньги немалые, если учесть, что за работу по очистке коровника женщины получали по шестьдесят рублей в месяц.

Иногда в Софронцеве справлялись свадьбы. Молодые регистрировались в ЗАГСе в Устюжне, но праздновать приезжали в родную деревню. Когда на двух-трех машинах гости приезжали в Софронцево, бабы, согласно обычаю, перегораживали дорогу бревном или веревкой и брали выкуп – чаще всего поллитровкой. Потом плясали под гармошку, ели, пили, в особенности много пили – до самого утра.

Такова была жизнь в Софронцеве, в которой мы не принимали прямого участия, на которую смотрели со стороны, как чужие. Впрочем, на нас деревенские смотрели так же. Мы знали, что нас осуждают. Деревенским казалось, что рисовать картинки – это не работа, так – чепуха какая-то. Наша манера одеваться тоже вызывала нарекания и насмешки. Бабы выговаривали Вале за то, что она носит брюки. Сами они носили ватные штаны лишь в большие морозы и всегда под юбкой.

Единственным человеком, который одевался, как хотел, и держал себя, как хотел, была Надя Эльская, и деревенские все ей прощали. Она носила купальники и шорты, мини-юбки и макси-юбки. Живая и общительная, "своя в доску", Надя сумела найти с жителями Софронцева общий язык, и они ее по-своему даже полюбили. Немалую роль в этом сыграла, конечно, маленькая Нюша, в которой вся деревня души не чаяла.

Сразу же после бульдозерной и измайловской выставок КГБ, очевидно, сообщило местным властям, к о г о Бог послал к ним в деревню, и отношение к нам крестьян не кардинально, но в чем-то очень существенно изменилось. Они принялись за нами следить – открыто, не стесняясь, стали брать на заметку все: когда приезжаем, когда уезжаем, кого принимаем. Думаю, что они это делали отчасти добровольно, и в этом смысле меня удивляла готовность людей помочь, услужить начальству. Подслеживаньем занимались, пожалуй, все, кроме семьи Хватовых, которые и характером были независимей и вообще относились к нам дружески. Софронцевцы знали, что о нас говорят по иностранному радио, что по нашему поводу высокое начальство звонит из Москвы в Устюжну, и не знали только, к какой категории нас отнести – не то мы преступники, не то просто опасные люди. Если преступники, то почему не прячутся, живут открыто, у всех на виду? Почему их, наконец, не сажают в тюрьму? Здравый смысл подсказывал, что ес-

ли начальство со всем этим мирится, то им вовсе не следует вмешиваться. В житейском смысле стало даже как-то легче. Нам перестали без конца указывать, что да как надо делать, в каком именно месте оставлять лодку, как складывать в поленницу дрова, как по-ихнему разжигать печь и так далее.

Заходили к нам по-прежнему, но теперь не молчали, а старались расспросить, узнать побольше. Заговаривали и о ''политике''. Однако мы избегали говорить с ними о политике, и разочарованные ''визитеры'' уходили ни с чем. Чаще других заходил колхозный бригадир дядя Миша. К нам он приходил уже навеселе, да я еще ставил всегда граммов сто-сто пятьдесят. Мне он, между прочим, рассказал, что являлся членом партии и сам же попросил, чтобы его исключили:

— Жена, понимаешь, у меня больная да работы полно, а партсобрания в Устюжне. Ну, хоть разорвись, понимаешь! Я на партсобрании говорю, мол, что хотите, то и делайте, а я больше так не могу. И, понимаешь, вошли в мое положение, сочувственно отнеслись и приняли единогласное решение ''исключить''. Теперь хожу свободный.

Однажды — дело было зимой 1975 года — зашел к нам дядя Миша. Выпил со всеми, присели на ступеньки. Потом отзывает меня в сторону, просит выйти. Вышли. Он немного помолчал и спрашивает:

— Ты чего там такого натворил в Москве, что из-за тебя постоянно звонят в Устюжну, заставляют наших следить за тобой, кто к тебе приезжает, чем занимаетесь. Тут в деревне рассказывают, что твой Сашка уходит, мол, в лес и по передатчику передает сведения для ''Голоса Америки''.

Я улыбнулся. Сашка действительно любил ходить в лес.

— Ты ведь соображаешь, что это неправда, — сказал я. — Если бы это было так, то я бы здесь с тобой не сидел и не разговаривал, а был бы давно арестован.

Михаил смутился:

— Ну да, вроде оно, конечно, так. Наверно, правду ты говоришь. Тогда, значит, от картин зависит. Что, скажи, в твоих картинах такое, что они начальству не нравятся? Я ведь хорошо вижу, что ничем другим ты не занимаешься, только картинки свои рисуешь. Мне ведь они тоже не нравятся. Я уж говорил... Так ведь это не причина!

— Попытаюсь тебе объяснить, — начал я. — Ты, наверное, читал в газетах и слышал по радио, что у нас в Советском Союзе не одобряют некоторых наших писателей и художников. За границей эти писатели публикуются, художники выставляются...

— И ты?

— И я.

— Где?

— В Германии, Америке, Франции, Англии... Везде понемножку.

— Я знаю. Слыхал по ''Голосу Америки''. Но ведь есть, наверняка, и другое, за что тебя преследуют. Не может не быть!

— Нет. Только за это. Ты вот знаешь свой коровник. Я рисую его, как вижу — старым, мрачным, деревянным. А начальство хочет, чтобы

я этот хлев рисовал, как в газете на фотографии – чистеньким, кирпичным, свежештукатуренным. А избы чтобы были, как городские дома – опрятные, под кровельным железом, а не под дранкой, как у вас.

– Ну, – сказал он нерешительно. – Ты не передаешь нашу советскую действительность.

– Возможно, – сказал я. – Я рисую то, что вижу. – Потом спросил: – Ты знаешь, что такое идеология?

– А-а... – Михаил помолчал. – Идеология... Тогда понятно... – Он не договорил, поднялся и ушел.

Какое понятие вкладывал он в это слово – не знаю. Знаю только, что оно показалось ему удовлетворительным ответом на все его вопросы.

Итак, осенью мы сказали Софронцеву "прощай", захватили все наши полотна, краски, кисти и книги, и как-то на заре наш приятель Хватов проводил нас до лодки. Рассвело, над рекой стал рассеиваться туман. Четыре деревенские собаки, которых мы обычно подкармливали и которые провожали нас до берега, бросились в воду и поплыли за лодкой. Защемило сердце. Должно быть, собаки чувствовали, что мы уезжаем навсегда. Хватов правил. Я сказал ему, что нашу избу конфисковали и что теперь он провожает нас в последний раз. До этого мы никому не рассказывали, что нас выгоняют, но думали, что об этом знает вся деревня. Хватов не знал. Некоторое время он молча на меня глядел, потом сказал:

– Быть этого не может! Ты придумываешь! Это – ошибка! За что вас выгоняют? Кому вы повредили?

Я ему все объяснил. Напоследок выпили, обнялись. Я дал ему десятку на опохмелку, и мы расстались.

Уже в Москве я узнал, что одна из местных жительниц хотела купить нашу избу, но колхоз не разрешил.

В конце концов, колхоз все-таки уплатил мне стоимость бревен, а так как дом был большой, то вышло что-то около четырехсот рублей. Хибарка Эльской никому не была нужна. Месяца через два позвонил Вронский и сказал, что колхоз устроил в доме медпункт, который до того ютился в маленьком домишке. Я обрадовался, что хоть дом на доброе дело пошел.

ЧИСТИЛИЩЕ

Не успел я вернуться в Москву, как сразу же окунулся в атмосферу нервной лихорадки, которая царила в среде наших художников. Горком действовал на полную мощность. В его состав вошло уже около сотни нонконформистов – практически все принимавшие участие в наших "диких" выставках.

Вскоре друзья мне сказали, что я тоже могу подать заявление с просьбой о принятии в Горком в живописную секцию. А это означало, что то же самое могут сделать Валя и Сашка, виноватые – одна лишь в том, что была моей женой, а другой – сыном. Заявление о приеме в Горком подал и Юра Жарких, к тому времени оформивший фиктивный брак и прописавшийся в Москве...

Подавая заявление, я спросил Ащеулова, когда мне в случае принятия выдадут членский билет Горкома, потому что не успел я вернуться, как из милиции тут же посыпались повестки. Должен же быть у меня хоть какой-то покой!

– Процедура принятия продлится около месяца, – сказал Ащеулов. – Но как подашь заявление, ручаюсь, они от тебя сразу отвяжутся.

Тут поневоле напрашивался вопрос, откуда у него по этому поводу такая точная информация. На меня, во всяком случае, его спокойный, уверенный тон подействовал хорошо. И он оказался прав. Буквально на следующий день милиция замолчала, словно забыла о моем существовании.

Одновременно с подачей заявления надлежало представить в худсовет какие-нибудь из своих работ. Если нас примут, то эти картины выставят на одной из ближайших выставок в Горкоме. Естественно, что провоцирующих работ предлагать не следовало. Я, например, принес софронцевские пейзажи, избы под рыжим осенним небом, покосившиеся сараи, преображенский пейзаж с рядами блочных домов. Вполне нормальные картины, и я был бы очень рад, если бы их выставили.

На худсовете будет, конечно, цензура, как же без цензуры? Но бята важно восседают за торжественно-массивным, покрытым красным сукном столом, их лица исполнены сознанием ответственности выполняемого долга.

Ащеулов в радужных красках описал будущее, которое ожидает живописную секцию: государство обещает выделить значительные субсидии в целях повышения творческой активности членов секции. Будут организованы многочисленные творческие командировки, туристические поездки за границу, предстоит открытие целого ряда выставок и т.д. и т.п. Кроме того, у горкомовских художников будет собственный клуб и ресторан – не хуже, чем у кинематографистов или литераторов. Можно будет туда придти, посидеть в приятной компании, выпить чашечку кофе или рюмочку вина.

Ащеулов постоянно употреблял в своей речи местоимение "мы". "Мы организуем", "мы откроем"... Я слушал все это, думая, как нелегко мне будет включать себя в это "мы". Затем перешли к обсуждению создания художественного салона, в котором произведения гор-

обещали, что ее сведут до минимума. Мне было безразлично – пусть цензура, пусть что хотят отвергают. Лишь бы приняли. До того хотелось нормальной, спокойной, человеческой жизни, что я внутренне подготовился к любой самой строгой цензуре.

Итак, я принес свои полотна, Валя – рисунки с изображением фантастических существ – полулюдей, полузверей, а Саша – осенние лирические пейзажи. Там вполне мог найтись "знаток", который сумел бы упрекнуть валины работы в некотором мистицизме и отрыве от действительности (ага, значит, наша советская действительность не нравится!). Мог найтись и такой "ценитель", который в сашиной лирике усмотрел бы отсутствие современных мотивов. Но все прошло хорошо. К концу совещания худсовета нам объявили, что все мы трое приняты в Горком. Решение худсовета, правда, еще должно быть утверждено Президиумом Горкома, но по мнению всех это всего лишь пустая формальность – поставят печати и все.

Теперь мы – я, Валя и Сашка – уже члены живописной секции Горкома, и в качестве таковых присутствуем на собрании этой секции. На собрании обсуждается план будущих выставок. На подобном собрании я присутствую впервые в жизни, и все мне очень интересно. Происходит оно в здании Горкома, верхние этажи которого занимают квартиры горкомовского начальства, а на первом и в подвале, бывшем бомбоубежище, находятся служебные кабинеты и выставочные залы.

В тот день, помню, меня очень тронуло поведение друзей и коллег. Так приятно, когда тебя принимают с радостью, когда тепло, дружески улыбаются, обнимают, жмут руку. Один из художников, приятель Ащеулова, всегда стоявший на стороне начальства, подошел ко мне и поздравил.

– Подожди, – ответил я. – Нас еще не приняли.

– Да нет же, нет! – воскликнул он. – Считай, что приняли. Поздравляю тебя и желаю всего наилучшего.

Я поблагодарил его, и тут, к большому моему удивлению, он объявил:

– Э, нет! Это я должен тебя благодарить, потому что если бы не было Измайлова, то не было бы никакой секции живописи и вообще ничего бы не было.

Такова была атмосфера этого собрания. У меня очень поднялось настроение. Думалось: "Ну вот, может, теперь дадут спокойно пожить. Надоело все до тошноты! А, кроме того, может, и в Горкоме удастся отстаивать свои позиции. Как-никак, начальство тоже в чем-то меняется. Может, власти захотят избежать скандала и пойдут на мировую.."

Все мне на этом собрании показалось необычным, чудным какимто. Взять хотя бы, к примеру, Володю Немухина или Диму Плавинского. Немухин, как всегда, весь взъерошенный, в расстегнутой на груди рубахе. У Димы вид бродяги-художника – борода всклокочена, солдатские бутсы в грязи. Да и Калинин с Кандауровым тоже нелепо выглядят на фоне строгих чиновничьих физиономий. И тем не менее ре-

комовцев должны продаваться только за валюту. "Вот и в МОСХе, – подчеркивал Ащеулов, – такой салон имеется, а чем мы хуже? Да мы лучше! Я уверен, что картины горкомовцев очень скоро займут ведущее место на художественном рынке, так как иностранцы ценят нас выше мосховцев.

Перед закрытием собрания он огласил список вновь принятых – всего двадцать человек – и мы в том числе.

Был и неприятный инцидент: один из художников, кандидатура которого была отклонена, вдруг поднялся с места и закричал на весь зал, что Ащеулов его не принял из чисто личных соображений – чувства неприязни, зависти... Ашеулов побагровел. Он стукнул кулаком по столу и закричал, что этот тип не имеет никакого права находиться на собрании, и что если он немедленно не покинет зал, то придется уйти ему, Ащеулову. Президиум с явной неохотой проголосовал за то, чтобы художник вышел, ибо, не являясь членом Горкома, он не имеет права здесь присутствовать. Вроде бы резонно. Однако тот факт, что Ащеулов практически заставил голосовать за то, что не нравилось, доказывало, что президиум целиком находится в его руках. Впрочем, в остальном собрание прошло спокойно.

Мы вернулись домой в хорошем настроении. Казалось, что все тревоги позади. Я тут же принялся строить планы и проекты, что, вот, снова куплю дом в деревне – не в софронцевских, конечно, местах, но тоже в незаезженных, где есть леса и реки, и сосновый бор – там уже устроились Эдик Штейнберг и Илья Кабаков.

Валя говорила:

– Ну что ты, как маленький? Чего радуешься раньше времени? Ведь ничего не решено еще!

Я отвечал:

– Ну и пусть. Пускай ничего не решено, но мне необходимо помечтать.

Прошла неделя. Наступил день заседания Президиума Горкома, которое прошло очень бурно, а закончилось весьма печально. Вместо того, чтобы четко и ясно утвердить решение живописной секции, нам почему-то решили дать испытательный срок до дня закрытия выставки. Выставка открывалась через полтора месяца, и на ней собирались представлять наши работы.

Володя Немухин, который присутствовал на заседании президиума в качестве наблюдателя, рассказал потом, что Ащеулов якобы нас по мере возможности защищал. Он повторял, что нас следовало принять в Горком "с точки зрения политической". А вот парторг и заместитель Ащеулова выступили против нашего немедленного принятия. Парторг сказал:

– Мы хорошо знаем этих людей. Кто может поручиться, что они не захотят вновь сеять смуту, устраивать скандалы и бегать к иностранным журналистам? Если они и в самом деле настроены с нами сотрудничать и вести себя нормально, то в конце концов можно будет их принять.

Приняли решение после выставки еще раз пересмотреть наше дело. Друзья во главе с Володей уговаривали набраться терпения и подождать. Ащеулов дал мне честное слово, что милиция трогать меня не будет. Для меня все эти заверения были ни к чему. Уже с самого начала я ни на секунду не верил в искреннее желание Ащеулова незамедлительно принять нас в Горком. Если бы он действительно хотел, то наверняка бы сделал. Ведь дело-то несложное – приказать и все тут же будет исполнено. Все отлично знают, что председателей у нас не выбирают, а назначают, и знают также кто назначает.

К концу второй недели, помнится, к вечеру, Саша приехал ко мне. Вдруг позвонила его жена Наташа и сказала, что их участковый часа полтора не давал ей житья, доказывая, что Саша должен преследоваться как тунеядец и что милиция вскоре займется его делом. Наташа напрасно пыталась объяснить, что Саша – художник, что Горком рассматривает его кандидатуру и что практически он уже принят. Милиционер повторял, что его это нисколько не касается. Пока нет удостоверения с места работы, человек рассматривается как тунеядец, так что и в данном случае они незамедлительно передадут дело в суд.

Итак, короткая передышка окончилась.

Признаюсь, нелегко следовать прихотливым изгибам гебистской мысли. Я попытался распутать клубок и пришел к заключению, что по-настоящему у Ащеулова не было никакого желания принимать нас в Горком. Просто он хотел поставить нас в двусмысленное положение. Действительно, наши работы прошли цензуру, одобрены и выставлены на горкомовской выставке. Значит, у нас все в порядке. Если бы мы вдруг начали протестовать, кричать о том, что нас снова преследует милиция, многие бы нам не поверили, решили бы, что мы хотим устроить скандал, привлечь к себе внимание.

Обсудив ситуацию с нонконформистами, находившимися с нами в одинаковом положении (они как один были уверены, что нас просто дурачат), я решил поговорить с нашими горкомовскими друзьями – Немухиным, Калининым и Плавинским. Я открыто спросил, могут ли они мне честно ответить, так это или нет. До чего же убитый и печальный был у Володи вид, когда он сказал, что, судя по всему, настроение горкомовского начальства переменилось. "Может, они тебя не примут, – мрачно заключил он. – Я ничего не могу сделать, даже посоветовать ничего не могу. Конечно, мы все поговорим с Ащеуловым. Но не знаю, получится ли из этого какой-нибудь толк." По его виду я понял, что он уже знает ответ и рассчитывать на хорошее нечего.

Даже уверенный в том, что меня хотят обмануть, я не мог отказаться от выставки, потому что дал бы удобный повод властям сказать, что официальной экспозиции я предпочитаю скандалы, связанные с "дикими" выставками. Согласились на том, что я все-таки должен привезти свои полотна на выставком.

— У меня остается единственный выход, — сказал я ребятам, — отобрать картины, которые заведомо не пройдут. Я не стану, конечно, представлять "политических" картин, потому что немедленно буду обвинен в провокации и антисоветчине. Я привезу картины с "эротической" тематикой. Их, конечно, не выставят. И все встанет на свое место.

Ребят особенно тревожило, как поступить при голосовании: голосовать "за" — все равно без толку. Голосовать "против" — значит, поддержать противника. Воздержаться тоже нельзя, потому что это будет расценено как "против". Я посоветовал им вообще сказаться больными и не придти, однако, они продолжали спорить.

На собрание выставкома Ащеулов предпочел не явиться, мне тем более там делать было нечего, а картины я попросил, чтобы отвезла приятельница. Когда их показали, наступило тягостное молчание. Голосование прошло почти без споров пятью голосами "за", в том числе Плавинского и Калинина, и девятью "против" при одном воздержавшемся Немухине.

Сразу же после собрания распространился слух, что выставка откладывается, потому что оказалось якобы слишком много желающих, и выставком не успел всех просмотреть. На деле все обстояло совершенно иначе. В это время Лондонский Институт современных искусств готовил выставку нонконформистов, и наши чиновники от искусства хотели доказать, что это всего-навсего антисоветская демонстрация: разве все эти "так называемые неофициальные и преследуемые" не являются членами Горкома? А если так, то их имена специально используются антисоветчиками, и преследование художников — ни что иное, как лживая буржуазная пропаганда. Подумывали даже о том, чтобы горкомовцы-нонконформисты написали специальное опровержение. Короче, Горком собирался открыть свою выставку одновременно с лондонской, чтобы доказать, что в СССР искусство свободно. Причем, выставком продолжал работать вполне в советском духе. Отклонялись картины, выставлявшиеся в Павильоне пчеловодства или во Дворце культуры ВДНХ. Картину Кандаурова "Справедливость" конфисковали как антисоветскую. Он нарисовал Фемиду в виде русской бабы в платке и тулупе с безменом в руке, на единственной чаше которого лежал не товар, а гири. Зато приняли выполненные им портреты Цветаевой, Мандельштама и Пастернака, которые Министерство культуры даже купило за тысячу рублей. По поводу офорта Плавинского "Издохшая собака" изрекли единственный комментарий: "Дохлые собаки нам не нужны".

Художники пошли жаловаться к Ащеулову, который посоветовал им обратиться в Министерство культуры:

– Только разговаривайте с ними помягче, повежливей... не то, что некоторые...

Те разговаривали и мягко, и вежливо, только все равно без толку. Горкомовская выставка получилась несколько кастрированной, но тем не менее достаточно интересной, чтобы публика стояла в очереди. На нас же, начиная с этого момента, преследования обрушились с новой силой. Сашу без конца вызывали в военкомат. Тут и милиция снова закопошилась и передала в суд его дело о тунеядстве. Следователь чуть не каждый день вызывал его на допросы и часами заставлял ждать приема. А в моем отделении милиции началась точно такая же история – во всех падежах склоняли, что я тунеядец. В дом приходили "поболтать" какие-то малознакомые люди и вели нескончаемые разговоры. Такое со мной прежде тоже случалось: когда властям требовалось оказать на меня особое давление без непосредственного, так сказать, вмешательства, они подсылали своих "посланцев".

Так, однажды в дверь постучался молодой, лет тридцати, человек по имени Лева. Я, кажется, видел его раза два или три на наших выставках, но не имел представления ни о том, кто он такой, ни о том, откуда он явился. Очень любезно Лева попросил разрешения побеседовать.

– Я – коллекционер, – сказал он, – и очень интересуюсь живописью. Я ходил на все ваши выставки и надеялся, что вы меня знаете. Итак, как ваши дела? – Затем он перевел разговор на Горком и последние события. – Мне хотелось бы дать вам один совет, – вдруг сказал Лева. – У вас сейчас очень сложная ситуация, но есть вещи, которые ускользают от вашего внимания. Скорее всего, вы даже не представляете, что происходит в данный момент.

И он в самых мрачных красках принялся обрисовывать мое положение. Я спросил, откуда он почерпнул эти сведения.

– Но об этом же знают и говорят все! – ответил он, широко улыбаясь. – А ведь художниками, знаете ли, интересуется очень много народу. Я, естественно, не имею права давать вам советы, но тем не менее, хотелось бы дать один. Так вот – вы очень хороший художник. Да! Да! И в то же время обстоятельства складываются так, что вы можете совершенно погубить свою жизнь. Но зачем же доводить до такого конца, если можно изменить ход событий?.. Имейте в виду, что в нашей стране существует элита – богачи, которые уже влияют на решения властей. Эти люди хотят жить, как живут все богатые люди в мире, покупать хорошие картины, покровительствовать искусству, литературе. В какой-то день эта элита станет влиятельной, могущественной и будет играть очень большую роль. Это время не за горами, но надо ждать. Сколько? Может, пятнадцать, а, может, двадцать лет... Однако теперь политическое положение в стране, да и за границей исключительно напряженное.

Ваше желание творить, как вам хочется, пока абсолютно неосуществимо. И если вы будете по-прежнему брыкаться, то вас с сыном... не посадят, конечно, нет! Но заставят уехать. Политика, знаете ли, серьезная вещь, и ради своих целей власти пойдут на все. – Он внимательно на меня посмотрел, как бы изучая мою реакцию, потом быстро отвел глаза в сторону. – Не думаю, что на Западе вы затеряетесь. С точки зрения материальной вам, возможно, станет даже лучше. Но как художник вы уже не будете играть той же роли, что здесь. На Западе, знаете ли, не становятся Шагалами по мановению волшебной палочки. Вы, кстати, сыграли заметную роль в истории советского искусства. Ведь ваша родина прежде всего – Россия. Но, как говорится, – легко потерять, трудно найти... Однако все же не думайте, что вас любой ценой хотят спихнуть в эмиграцию. Лучше было бы найти достойный компромисс. – Он встал и прошелся по комнате, снова сел. – Верьте, кончится тем, что вас примут сначала в Горком, а потом и в Союз художников.

Меня разозлил его самоуверенный тон:

– Почему вы так говорите? Вы что, имеете отношение к Горкому или Союзу художников? Или, может, уполномочены выступать от их имени?

Он опустил глаза и улыбнулся:

– Ну, нет, я выражаю лишь собственное мнение. Что вы! Я всего-навсего экономист. Преподаю политэкономию в одном из институтов. Просто мне, так сказать, удобнее наблюдать со стороны, а от вас ускользает суть явлений. Поверьте же! – Он снова вскочил: – Я желаю вам только добра и чрезвычайно ценю вашу живопись. Но... откажитесь же, наконец, от организации всех этих "диких" выставок! И вас станут выставлять. Вот увидите. Не политические полотна, нет! На это глупо надеяться. Но постепенно может наладиться контакт. Вам, может, будут давать заказы. Вовсе не обязательно их принимать – можете отказаться. Но в общем-то трудитесь, работайте, покупайте в деревне дом – я ведь знаю, что это ваша заветная мечта. Одним словом, живите нормальной жизнью, и все встанет на свое место.

Лева был явно возбужден собственной речью:

– Знаете, – вдруг громко сказал он, – ведь Брежнев не вечен... – И доверительным тоном добавил: – Уж очень хочется, чтобы руководство поменялось! Оно может, кстати, оказаться хуже. Да, хуже! Но в любом случае не следует думать, как большинство нашей интеллигенции, что снова сразу же станут сажать. Ничего подобного! Привыкли все мерить старыми мерками, а времена, знаете ли, уже не те: требования экономики и политики таковы, что страна будет вынуждена либерализоваться.

В общем, Лева преподал мне урок такой политэкономии, какого он, конечно, никогда не смог бы дать в институте своим студентам. Перед уходом он настойчиво повторял, чтобы я запомнил и принял к

сведению его слова. Если нет, то тем хуже для меня: пусть я даже смирно буду сидеть – все равно окажусь в рядах оппозиции, потому что не принадлежу ни к одной из официальных организаций. И вообще существую, как государство в государстве – ни политически, ни экономически от него не завися.

– Прецедент такого рода власти ни в коем случае не смогут допустить, – сказал Лева. – Вы, кстати, не один находитесь в подобной ситуации. Точно так же живут диссиденты и некоторые русские интеллектуалы... До поры, до времени... Если вы от своей позиции не откажетесь, вас вынудят эмигрировать и, как сами понимаете, не самым приятным способом.

В дальнейшем, когда мои отношения с властями ухудшились, к дому часто подкатывала машина, за рулем которой был Лева. Иногда я просто-напросто его выпроваживал, однако, через неделю-другую он, как ни в чем не бывало появлялся вновь, невозмутимый, улыбающийся, приветливый. А когда обстановка смягчалась – исчезал. Немало подобных "лев" крутилось вокруг меня. Говорили они почти одно и то же, с той лишь разницей, что одни угрожали более открыто, а другие больше намекали.

Я их выслушивал, желая понять, что в данном случае еще от меня хотят, заставляя не мытьем, так катаньем свернуть на официальную дорожку. Безусловно, далеко не все следовало принимать за чистую монету. Когда Лева распинался, что меня ни за что не посадят, это еще ни о чем не говорило. Тем более пустыми были его заверения, что меня могут принять в Горком или в Союз художников. Ведь Леву подобный треп ни к чему не обязывал. Зато становилось яснее, чего от меня ждут. У других нонконформистов, кстати, тоже были свои "левы", и некоторые из ребят без церемоний выталкивали их за дверь. Однако я сдерживался, пытаясь извлечь из этих визитеров хоть какую-нибудь информацию.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Лондонская выставка "Неофициальное искусство в СССР" в Институте современных искусств должна была открыться 18 января 1977 года и возглавлялась сэром Роландом Пэнроузом. Известный искусствовед и знаток истории искусств сэр Пэнроуз сам отбирал картины из собраний западных коллекционеров и в Музее современного русского искусства, основанного Глезером под Парижем, в Монжероне. В экспозиции была представлена вся наша старая гвардия, среди них горкомовцы (Калинин, Плавинский, Немухин, Вечтомов) и недавно уехавшие на Запад (Шемякин, Неизвестный, Нуссберг, Зеленин). Готовился прекрасный каталог со множеством цветных и черно-белых репродукций. Саша Глезер сумел через знакомых переслать мне в Москву несколько экземп-

ляров, и я убедился, что туда вошли и моя злосчастная "Правда" с рыбой", доставившая мне столько неприятностей на Шоссе Энтузиастов, и с пренебрежением отброшенная горкомовским выставкомом "Издохшая собака" Плавинского.

Выставляя на горкомовской выставке представленных одновременно на лондонской экспозиции Калинина, Плавинского, Вечтомова и Немухина, Ащеулов хотел, во-первых, показать, что в СССР существует свободное искусство, и, во-вторых, дискредитировать выставку Института современных искусств. Мол, это же обыкновенная, пошлая антисоветская провокация! Нам казалось очень важным расстроить эти планы и раскрыть перед Западом, плохо знакомым со всей этой кухней, истинное положение вещей.

Лучше всего было бы устроить новую "дикую" выставку, гонения на которую показали бы всем, что разговоры о свободе независимого искусства в СССР – ложь. Кроме того, мы на собственный манер отпраздновали бы открытие выставки в Лондоне. Однако наши намерения натолкнулись на большое препятствие. Никто на этот раз не захотел дать квартиру для проведения подобной выставки. Если раньше люди рвались помочь нам, то теперь все хмуро молчали. Большинство было уже достаточно запугано.

Мы написали открытое письмо, которое передали иностранным корреспондентам и распространили среди художников. В письме разоблачались маневры КГБ, раскрывалась закулисная сторона горкомовской выставки и цели, которые преследовались властями. Это письмо сыграло свою роль: горкомовская выставка была отложена на несколько недель, и вообще отпал вопрос об устройстве ее одновременно с лондонской. Ащеулов, знавший о проекте готовящейся "дикой" выставки, но не знавший, что она срывается из-за отсутствия квартиры, боялся, что сравнение между "его" нонконформистами и "нашими" обернется не в его пользу.

Тогда он стал лихорадочно предпринимать какие-то действия: смягчил цензуру, принял несколько полотен на религиозные темы, несколько ню и других "предосудительных" сюжетов. Выставка стала интересней, и на открытии вновь, как когда-то в лучшие времена, стояла длинная очередь. Горкомовские устроители получили лишний повод обозвать нас лгунами, интриганами и клеветниками, зато художники были очень благодарны: без нашего письма было бы хуже.

Время шло, закрылась лондонская выставка, закрылась и наша выставка, да, именно "наша выставка", потому что нам все-таки удалось устроить "дикую" выставку, но только не в Москве, а в Ленинграде – при обстоятельствах, о которых стоит рассказать.

Чудо состоялось в декабре 1976 года. Мы, как всегда, сидели на кухне и пили чай. У нас в гостях была молодая ленинградская коллекционерша живописи Наташа Казаринова. Она часто приезжала в Москву

к матери, директорше Центральной московской аптеки, которую москвичи по старой памяти называли "аптекой Фейна". Наташа была живой и деятельной и, избалованная матерью, властной и капризной. Уж если ей что втемяшится в голову, нелегко было это выбить. Мужа Наташи, Рудика, доктора наук в ленинградском Институте физики имени Иоффе, я знал меньше. Всегда спокойный и сдержанный, он казался даже немного робким. У Казариновых росла маленькая дочка, и жили они в большой трехкомнатной кооперативной квартире. Я подробно говорю о деталях, потому что без них не понять истории, которая разыгралась после того, как Наташа, видя, как мы расстроены из-за отсутствия квартиры для выставки, вдруг предложила:

– А почему бы не устроить выставку у меня?

Это предложение вызвало всеобщее замешательство. Наташа покупала наши картины, но никогда не вмешивалась в наши распри с властями и вообще никогда не занималась политикой. Напрасно мы ее отговаривали, напрасно в самых мрачных красках описывали, насколько тяжела и опасна нынешняя ситуация с нонконформистами, как сильно она рискует, ввязываясь в это безумное предприятие. Создавалось впечатление, что чем больше мы упрашивали, тем упрямей она настаивала на своем.

В конце концов, мы поняли, что решила она твердо, наша совесть была чиста, мы ее предупредили обо всем. И началась активная подготовка к выставке. Условия для "диких" выставок в Ленинграде иные, чем в Москве. Там мало иностранных дипломатов и журналистов, и любая диссидентская акция вызывает гораздо меньший отклик на Западе, чем если бы это произошло в столице.

Мы детально разработали план действий и решили, что Рудик должен держаться от него в стороне, чтобы не было предлога придраться, что он выдает иностранцам важные научные секреты. Наученный горьким опытом Эльской, которой грозило лишение родительских прав, я посоветовал Наташе куда-нибудь отвезти дочку на время выставки. Большинство картин перевезли из Москвы в Ленинград заблаговременно, чтобы их не могли перехватить в последнюю минуту. Картины не должны были продаваться, чтобы власти в случае чего не могли обвинить нас в спекуляции.

Друзья и знакомые говорили:

– Да это же молодая, избалованная женщина! Она романтична, легкомысленна, для нее эта выставка – игра. Но стоит поприжать чуть посильнее, как от ее романтизма и следа не останется – она тут же бросит эту затею.

Однако вышло по-другому. Даже в моменты, когда положение казалось очень рискованным, отчаянно-смелая Наташа твердо стояла на своем. Ее муж, как ни старался не впутываться в историю, стал, тем не менее, главной жертвой этой авантюры.

По мере возможности я держал Сашу Глезера в курсе дел. Он просил передать ему список участников квартирной выставки, чтобы присоединить его к лондонскому каталогу. К сожалению, это сделать не удалось, так как после первого телефонного разговора я уже не мог больше Саше дозвониться – связь оказалась прерванной.

Однако в любом случае и открытие нашей "дикой" выставки в день лондонского вернисажа, и сама лондонская выставка имели для нас большое моральное значение. Власти отлично это понимали. Ведь для них удобнее всего закрытость, молчание, полное отсутствие гласности. Это гарантирует полную свободу действий и тотальный надзор над так называемым "молчаливым большинством", которое при малейшем недосмотре может переметнуться на сторону "бунтовщиков".

В общем-то, если не считать телефонных осложнений, все проходило тихо и спокойно – ни вызовов, ни угроз, странное затишье. Дня за три до вернисажа перед окнами моей квартиры остановилась и осталась стоять машина с наглухо зашторенными окнами. Мотор у нее, не переставая, работал днем и ночью.

– Им холодно, – шутили друзья, – вот и включают отопление. Наверняка установили пост для подслушивания ведущихся в квартире разговоров.

Я плохо понимал во всей этой технике, но знакомые говорили, что это возможно.

Совсем незадолго до выставки у меня собралось много народу, включая Наташу Казаринову и моего друга, ленинградского художника Володю Овчинникова. Обсуждались последние детали назначенного на 18 января вернисажа. Вдруг зазвонил телефон. На другом конце провода слышались всхлипывания и громкие истерические выкрики. Звонила мать Казариновой. Я изредка с ней встречался, когда она передавала для дочери подарки – пакеты, свертки. Дама крупная и представительная, мать Казариновой была живым воплощением начальства. Положение директора Центральной аптеки давало массу привилегий. В обычной обстановке она была довольно любезной и приветливой, но сейчас кричала по телефону:

– Я требую, чтобы вы оставили в покое мою дочь и ее мужа! С вашей поганой антисоветчиной вы сгниете в тюрьме!

Меня как обухом по голове ударило. Я пытался возражать, однако женщина ничего не слушала и заявила, что любой ценой спасет свою любимую девочку, свою Наташу!

– Я все брошу! Я сяду в самолет, прилечу в Ленинград, и этой выставки не будет! Через мой труп! Где Наташа? Где вы ее прячете?

Мне удалось, наконец, ее перебить и сказать, что Наташа сама сейчас будет с ней разговаривать. Их разговор происходил крайне бурно, Наташа топала ногой, кричала:

– Неправда! Все это вранье! И вообще, несмотря ни на что, выставка состоится!

Когда Наташа подошла к столу, ее обычно оживленное, веселое лицо побледнело. Она недоверчиво оглядела собравшихся, словно говоря: "А какова на самом деле цель этой выставки?"

Выяснилось, что мать, оказывается, о намерениях Наташи ничего не знала. Поэтому неожиданный вызов в КГБ был для нее громом среди ясного неба. Там ей рассказали, что ее дочку и зятя использовали в своих целях неофициальные художники, которых, в свою очередь, тоже кое-кто использует. "Кое-кто", конечно же, иностранные шпионы и, прежде всего, американское ЦРУ.

Гебисты приняли наташину мать очень вежливо и предупредительно:

– Мы давно знаем вас и доверяем вам, – сказали ей. – Вы не член партии, но честный советский человек. Вот уже тридцать лет вы занимаете такой ответственный пост. Мы хотим лишь поставить вас в известность, что ваша дочь одурачена, и вы можете ее потерять. Если она попрежнему будет настаивать на предоставлении своей квартиры для выставки этих художников, то в соответствии с Уголовным Кодексом получит десять лет тюрьмы или лагерей. Ваша дочь и сама, видно, не знает, во что вляпалась. Ведь выставленные картины все будут проданы в пользу "так называемых" детей политзаключенных СССР.

А дело было вот в чем: подобную выставку действительно собирался организовать Саша Глезер, и он ее организовал – одну в Лондоне, другую – в Париже. Но ни та, ни другая не имели никакого отношения к выставке в Институте современных искусств в Лондоне. Гебисты превосходно обо всем знали, но для них очень удобными оказались слова "политзаключенные" и "антисоветчики", которые отлично сработали в нужный момент. На чиновников типа наташиной матери они действовали совершенно магически – вот почему та и впала в настоящую панику. Ее поведение симптоматично для советского общества в целом, где пугалом становятся не только политзаключенные, но и их дети, хотя ведь это всего-навсего – дети.

Глядя на подавленную Наташу, мы поняли, что травля началась. Я почти три часа доказывал ей, как, что и почему. Она, судя по всему, мне поверила и решила: несмотря ни на что, властям не уступать!

А в это время в Ленинграде все шло своим чередом. Позвонил оттуда Рудик и рассказал, что его вызывал директор и выразил сожаление, что их сотрудник попал в такую грязную историю. Ведь его могут обвинить в шпионаже, а это кладет пятно на весь институт!

– Вы забыли о долге советского ученого, – заключил директор. – Немедленно откажитесь от выставки, иначе вас ждут большие неприятности.

Тон у Рудика был довольно спокойный. Он решил, что на время выставки уедет к матери и не ступит ногой в собственную квартиру. Так будет труднее обвинить его в контактах с иностранцами. У него, кстати, имеются сведения, что на лондонской выставке нет абсолютно

ничего антисоветского. Однако в глубине души – я понял – Рудика терзали сомнения: а вдруг и впрямь нечестные люди злоупотребили доверием Наташи, а вдруг она всего лишь пешка в чьих-то руках, а вдруг...

Я и с ним разговаривал долго и, как умел, убеждал, что все обстоит совершенно не так, как изображает его перепуганный директор.

Снова позвонила наташина мать и тем же истерическим тоном заявила, что немедленно летит в Ленинград, чтобы повлиять на Рудика. Наташа, безусловно, спятила, она никого не желает слушать. Значит, должен энергично вмешаться муж. После этого звонка Наташа тут же вылетела в Ленинград. Предшествовавшие выставке дни превратились для Казариновых в сущий ад. Непрерывно с утра до вечера звонил телефон. В квартире толпились знакомые и незнакомые, наташина мать в перерывах между истериками падала в обморок. Сотрудники Рудика умоляли его одуматься, пока не поздно, и выставку отменить. Они говорили, что его выгонят с работы и посадят, что он подводит своих друзей и коллег: летит ко всем чертям проект, который собирались выдвигать на соискание Ленинской премии.

Рудика снова вызывали в дирекцию. Помощник директора закричал, что если он не откажется от выставки, то приказ об увольнении тут же будет подписан. Кроме того, Ученый совет лишает его звания доктора физических наук.

Разозленный Рудик ответил, что уволить они его, конечно, могут, однако ученой степени может лишить лишь специальная комиссия Академии наук в Москве. К тому же выставка ничего общего с антисоветской махинацией не имеет и устраивает ее не он, а его жена. Помощник директора уцепился за последнюю фразу:

– Ах, так вы не можете настоять на своем и заставить жену образумиться? Тогда разведитесь с ней! И с вас тут же снимется всякая ответственность!

Наташа звонила мне по многу раз в день, стараясь держать в курсе дел и спрашивая совета, как себя вести, особенно, когда приходит милиция. Я старался ее ободрить и успокоить.

Всего в Ленинград собиралось ехать пятнадцать художников – не все вместе, а отдельными группами. Мы с Сашей купили билеты на ночной поезд 17 января. Валя решила остаться и пошла провожать нас на вокзал. Хоть он и находился минутах в десяти от дома, мы вышли чуть ли не за полтора часа до отхода поезда. Меня тревожило какое-то неприятное предчувствие, и оно не замедлило оправдаться. В вечерней полутьме за домом стояло человек пять. Один из них обратился ко мне:

– Здравствуйте, Оскар Яковлевич!

– Здравствуйте.

У поворота дороги стояла другая группа, некоторые в милицейской форме. Мы поняли, что нас не пропустят. Один из них приказал:

– Стойте! Просим проследовать за нами в отделение.

Началась обычная в таких случаях канитель: я прошу предъявить удостоверение, спрашиваю, на каком основании они нас задерживают, говорю, что жена не едет в Ленинград.

– Никто не едет в Ленинград, – сказал один из мужчин. – Прошу следовать за нами.

– Но у нас мало времени! Поезд уйдет, пропадут билеты!

– Об этом можете не беспокоиться.

В этот момент возле нас резко затормозила черная "Волга". Из нее вышел милиционер в офицерской форме и несколько штатских с повязками дружинников на рукавах. Офицер сказал, что у него есть указание отпустить Валю домой.

Один из "дружинников" приказал нам садиться в "Волгу". Я снова запротестовал:

– Мы не обязаны подчиняться приказам неизвестных лиц!

Молодой засмеялся и сказал офицеру:

– Прикажите им сесть в машину. Вас они послушаются.

Тот заторопился:

– Скорее! Скорее! – И сразу стало понятно, что "дружинник" занимается гораздо более ответственной работой, чем офицер.

Валя поехала на вокзал, чтобы сообщить о случившемся Киблицкому и другим художникам. На вокзале милиция следила за ними, но вела себя странно: одним позволили сесть в вагон, другим приказали немедленно отправляться домой. Вернувшись, Валя захотела позвонить дочери, но телефон оказался отключенным. Он оставался немым больше года, как раз до конфискации квартиры, когда меня уже в Париже лишили советского гражданства. Я много раз просил о восстановлении телефонной связи. Наконец, выведенный мною из терпения начальник телефонного отделения откровенно объяснил:

– Напрасно вы просите... Вы отлично понимаете, что не от нас это зависит. Когда поступит сверху приказ, тогда и подключим.

Между тем, черная "Волга" на большой скорости мчала в сторону Измайлова. Потом повернула налево, направо, покружила некоторое время по пустынным улицам и... очутилась возле нашего родимого отделения милиции. Тут нас с Сашей разделили – его повели в одну комнату, меня – в другую. На стене висел неизменный портрет Дзержинского. Мой "дружинник" кивнул мне головой на стул, сам уселся за столом напротив.

– Надолго ли нас задержали? – спросил я. – Ведь мы бы еще могли успеть на поезд...

– Ни на поезд, ни на какой другой вид транспорта вы уже не успеете, – угрюмо сказал "дружинник". – Мы не позволим... И вообще, прекратите всякие разговоры! Я вообще не обязан вам отвечать!

– Просто интересно, – заметил я, – кто вы такой, чтобы разговаривать со мной в подобном тоне и давать приказания милиционерам в чине офицера?

"Дружинник" не отвечал. Время шло. В три часа ночи "дружинник" посмотрел на часы и сказал:

– Вас отвезут домой, Оскар Яковлевич.

– А моего сына?

– А вашего сына – по месту его жительства.

"Наверное, продержали до последнего отходящего на Ленинград поезда, – подумал я, – а теперь отпустят подобру-поздорову".

– Я могу сам вернуться домой. Это рядом.

– Нет! Нет! Вас проводят.

У нашего подъезда уже дежурила целая милицейская команда.

– Вот, – сказал мой "дружинник". – Можете идти. И останетесь дома до конца ленинградской выставки. Эти люди будут вас сторожить.

– Я нахожусь под домашним арестом? – пораженный, спросил я. – Тогда предъявите ордер на арест.

– Идите! – раздраженно прервал он. – Никаких ордеров!

Как потом выяснилось, единственным добравшимся до квартиры Казариновых оказался Жарких. Он исчез, как всегда, незаметно, отделившись от группы и, переодетый в лыжную форму, с лыжами на плече сел в поезд. В Ленинграде он остановился у друзей и в день вернисажа по-прежнему замаскированный под лыжника, прошел незамеченным, смешавшись с толпой.

Итак, часть художников задержали еще на перроне вокзала в Москве, остальным дали возможность сесть в поезд и перехватили уже на вокзале в Ленинграде. Там их привели в привокзальное отделение милиции, где полковник милиции, отлично осведомленный о выставке и поименно знавший всех художников, начал читать задержанным мораль: мол, они идут по плохой дорожке, есть возможность вступить в Горком художников, где их всех будут выставлять. "Но сегодня, – закончил он беседу, – вас первым же поездом отправят в Москву, а за билеты придется платить самим".

До отправки ребятам все же разрешили выпить по чашечке кофе в привокзальном буфете, и тут Киблицкий, воспользовавшийся рассеянностью сопровождающих, кинулся в телефонную кабинку, чтобы прдупредить Казаринову о случившемся. Он не успел договорить, как разъяренный милиционер ворвался в кабинку и выхватил у него трубку.

Вагон целиком отвели для пятерых художников, которых сопровождали три гебиста. Поезд был битком набит, и пассажиры пытались открыть запертые на ключ двери почти пустого вагона, но тщетно. Не пускали даже контролеров и так, взаперти, довезли до Москвы. На московском вокзале к каждому приставили сопровождающего и проводили до дому. Киблицкий ехать домой отказался и заявил, что собирается к Рабину. "Пожалуйста", – сказали ему и под конвоем привезли ко мне. Под нашими окнами с разных сторон дома дежурили три машины по четыре человека в каждой. Моторы работали, не переставая – ведь на улице был мороз и в машинах было холодно.

До сих пор не понимаю, почему власти сосредоточили вокруг моей персоны такие "крупные" силы. Может, я, действительно, являлся в их глазах столь опасным преступником? Иногда все это казалось абсурдным спектаклем.

Однажды Валя собралась поехать к дочери., я вышел ее проводить. К нам подошли несколько здоровенных мужиков в штатском. Один из них, самый высокий и толстый, с улыбкой спросил, куда я направляюсь.

– Оставьте меня в покое! – грубо ответил я. – Ваше дело – меня сопровождать. Идите следом, вот и узнаете.

– Не ответите, буду вынужден вас задержать.

– Но почему? На каком основании?! Предъявите, по крайней мере, хоть какие-нибудь документы.

Он, продолжая улыбаться, ответил:

– Будете молчать, никуда не пойдете. Не упрямьтесь, Оскар Яковлевич!

– Но я просто хочу проводить жену до метро!

– Хорошо. Но за вами будут следовать.

Так, не отставая ни на шаг, за нами и плелись двое до метро. И обратно. И с тех пор, выходил ли я в магазин, шел ли за сигаретами, эти двое пристраивались следом и молчаливо меня сопровождали.

Я находился в курсе ленинградских дел, так как ко мне приходили свободно. Выставка в Ленинграде открылась, несмотря на то, что дом был оцеплен милицией. Милиция стояла на площадке и на лестнице и проверяла паспорта приходящих. Некоторые боялись и поворачивали обратно. Но многие проходили, их было так много, что в квартире невозможно было протолкнуться.

В Ленинграде об этой выставке ходили самые невероятные слухи, она вырастала до масштабов большого события. Страсти подогревались передачами иностранного радио. Я уверен, что не прояви власти такого усердия в ее преследовании, экспозиция прошла бы с гораздо меньшим успехом. Однако Наташа, измученная всей этой нервотрепкой, уже еле держалась на ногах. Чтобы как-то поддержать ее морально, я решил пойти с друзьями на почту и оттуда позвонить в Ленинград. Две машины немедленно тронулись за нами. Входим в помещение почты, а за нами вваливается орава человек в десять. Телефонистка записала номер и попросила подождать. Один из наших сопровождающих к ней наклонился, показал удостоверение и что-то шепнул на ухо. Через полчаса телефонистка объявила, что номер не отвечает. Я понял, что настаивать бесполезно, и сказал друзьям, что хочу доехать до ближайшей автоматической междугородней кабинки на Ленинградском вокзале. Уже в метро на Преображенской один из конвоиров подошел ко мне и сказал, чтобы я немедленно возвращался домой:

– Не то придется применить силу, Оскар Яковлевич...

Такая плотная слежка длилась на протяжении всей выставки и еще два дня после ее окончания. Потом и дежурившие сутками машины, и типы, слонявшиеся у подъезда, вдруг исчезли, словно сдутая ветром нечистая сила, и я, наконец, смог вздохнуть свободно.

Казариновым пришлось полной мерой хлебнуть "диссидентских радостей": Рудик предстал перед Ученым советом Института, где услы-

шал, что звание советского ученого несовместимо с его поведением. С должности заведующего отделом его перевели на должность младшего научного сотрудника с окладом в 120 рублей. Рудик тут же подал заявление об уходе с работы по собственному желанию, что и было принято с нескрываемой радостью. Теперь он ходил по институту, как прокаженный: прежние друзья и коллеги при встречах отворачивались и не подавали руки.

Для Рудика все пути были перекрыты, отныне на нем лежала как бы каинова печать. Оставалось либо лет пять ждать, пока все само собой постепенно забудется, либо публично покаяться, признать ошибки, либо... эмигрировать. Об эмиграции впервые, кажется, заговорила Наташа. "Если в этой стране, – с горечью сказала она, – можно лишить человека ученого звания и выбросить его с работы только за то, что его жена организовала обычную, без всякого политического содержания художественную выставку, то эту страну надо покинуть и забыть".

Впрочем, это было легче сказать, чем сделать. Власти могли придраться к тому, что Рудик владеет научными секретами, и продержать его под замком не только годы, но и всю жизнь.

Правда, в ОВИРе, против ожидания, к Казариновым отнеслись благожелательно (наверное, так было велено свыше), и довольно быстро им дали разрешение на эмиграцию, на отъезд в Израиль для воссоединения с мифическими родственниками. Сейчас Казариновы живут в США, Рудик работает по специальности, они очень довольны своей судьбой.

ГОРОД НА НЕВЕ

Ленинградская интеллигенция живет несколько в стороне от помпезной столицы с ее ЦК, правительством и КГБ, поэтому ее творческая жизнь протекает более раскованно (относительно, конечно!). Сравнить хотя бы ленинградский Союз художников с нашим. Их председатель Угаров, во-первых, сам неплохой художник, во-вторых, человек образованный, знаток 20-х годов и современной западной живописи – не то, что МОСХовский дикарь и невежда Попов. Угаров был и более гибким и динамичным. Он однажды сам вел переговоры с Инициативной группой художников, созданной в Ленинграде после Измайлова. Однако, по существу, и для москвичей, и для ленинградцев проблема оставалась одной и той же. Приведу для примера историю, приключившуюся с Володей Овчинниковым. Володя, сорокалетний, солидный мужчина, отец двоих детей, внешне удивительно похож на императора Николая Второго. Человек глубоко религиозный, он нередко неделями, а то и месяцами жил у священников, реставрируя монастыри и старинные церкви. О церковных делах и о религии он говорить не любил, а если кто-нибудь в споре уж чересчур нападал на религию, ограничивался коротким замечанием: "Вы, должно быть, не все знаете о православии". Если у него

спрашивали, как он относится к эмиграции, Володя отвечал просто: "Не могу". И я знал, что это именно так. Но Володя прежде всего был прирожденным, влюбленным в свое дело художником, и поэтому, когда в отделе культуры ленинградского исполкома ему предложили устроить персональную выставку, он был очень рад.

Угаров, стремясь подчеркнуть свой либерализм, время от времени организовывал подобные персональные выставки, не имевшие, конечно, такого резонанса, как групповые, но, тем не менее, очень интересные. Овчинников был уже широко известен в художественных кругах, поэтому выбор пал на него.

Выставка намечалась через месяц, и Володя, естественно, не мог за такой срок написать тридцать или сорок полотен. А в запасе у него картин почти не было, потому что они раскупались очень быстро. Вот почему он примчался в Москву и объездил всех своих покупателей, умоляя одолжить картины для выставки. Обычно Овчинников останавливался у меня, и я отлично знал, чего ему стоила вся эта процедура. Советские одалживали картины охотно, но иностранцы не очень-то доверяли, тем более, что некоторые собирались из Союза уезжать. Наконец, затратив массу сил, нервов и денег, Володя с картинами уехал в Ленинград.

Я понимал это желание художника видеть развешанными в зале свои картины, и публику, которая их разглядывает. Дата и место выставки были назначены. Оставалась небольшая формальность – предварительная проверка комиссией отдела культуры. Прибыл и Угаров, который в качестве уполномоченного принимал участие в просмотре.

Позже Володя с горечью рассказывал обо всей этой комедии. Комиссия целиком состояла из райкомовских чиновниц-бюрократок, выражавших свое мнение единственной фразой: "У этого художника антисоветская позиция". Угаров вел себя иначе. "Он так меня расхваливал, – рассказывал Володя, – что мне даже неловко стало. Потом сказал, мягко улыбаясь: "Вот видите, все прекрасно... но посмотрите на эту картину. Ваши ангелы, например. Они сидят на деревянной скамье перед столом с водкой и остатками селедки. Напротив сидят другие ангелы с такими же крылышками, но в полосатой одежде политзаключенных. Вид у них удрученный и горестный. Эти ангелы спустились с неба и оказались в России. И что же они тут увидали? Лагеря, пьянство, бедность? Ах, если бы это происходило не в нашей стране! Но нет, вы же подчеркиваете, что именно здесь, у нас! Указатели, надписи – все написано по-русски. Да и без того все понятно. Ну и что же остается сказать прилетевшим к нам ангелам? Только одно: "Господи, куда мы попали!" Я надеюсь, вы понимаете, что манера изображения нашей действительности настоящим советским художником в корне отличается от вашей, чрезвычайно субъективной и личной? Хорошо, – вздохнул Угаров, – поглядим теперь на другие картины. Вот – "Игра в Жанну д'Арк". Маленькая девочка привязана к столбу. Вокруг – товарищи, которые собираются поджечь дрова. Эти школьники изучали по учебнику историю Жанны д'Арк и теперь хотят ее повторить. Но ведь вокруг же взрослые и даже

присутствуют два милиционера. У одного шинель распахнута, у другого расстегнута ширинка, и он тупо смотрит на окружающих, а на роже написано: "Может, они и впрямь сожгут девчонку... Ну и черт с ней! Туда ей и дорога!" И публика, и представители власти изображены у вас какими-то кретинами, и вы делаете это совершенно сознательно. Только думаете, что мы этого не понимаем. А? А ваш "Святой Себастьян"? Ну, ладно, в принципе это – персонаж из религиозной легенды, постоянный герой классической живописи, пронзенный стрелами мученик. Но извините, на вашей картине Святой Себастьян – привязанный к столбу советский гражданин, а спокойно созерцающие казнь – наши современники: милиционеры, рабочие, бабы, какие-то пьяницы... Нет, мы не можем выставлять ни одно из ваших произведений, – заключил Угаров. – Все они одинаковы."

Он ни разу не повысил тона, ни разу, подобно чиновникам из комиссии, не употребил слово "антисоветский", он даже потрудился просмотреть картины и обстоятельно их проанализировать. Но какая разница? Результат получился тот же. Овчинников не спорил. Он понял, что отныне оказался в разряде запрещенных и что на официальные выставки ему рассчитывать нечего. На него вся эта история подействовала очень тяжело. Он еще больше замкнулся в себе и стал чаще уезжать из дому, однако от своей художественной манеры не отказался.

Со своей советской точки зрения Угаров был прав, говоря о болванах на картинах Овчинникова. Но разве у художника нет права изображать жизнь такой, какой он ее видит? Нет, в Советском Союзе нет права. Ведь и меня постоянно упрекали, что я вижу жизнь в нашей стране в черном свете. У Целкова, кстати, герои картин тоже зловещие недоумки, красные или зеленые. Разница только в том, что его уроды могут относиться к любой стране, они, так сказать, интернациональны, хотя его картины тоже не выставляли в Москве, а володины кретины неоспоримо принадлежат России.

Приблизительно в это же время в Ленинграде было другое "дело", связанное с процессом авторов гигантских настенных крамольных надписей. Больше года в различных местах города высоко на стенах появлялись метровые лозунги типа "Свободу заключенным!" или "Да здравствует демократия!" Однажды подобный лозунг возник на огромной стене Петропавловской крепости. Немедленно привезли пожарную лестницу и долго отскребали проклятую надпись. Однако ленинградцы еще долго могли ею любоваться, потому что вычищенные места проявились белым на грязной стене. В конце концов, пришлось перекрасить всю стену.

Но потом произошла вещь еще более неожиданная. Неизвестные проникли в трамвайное депо и написали на стенках трамвая политические лозунги. Вагоновожатый влез в свою кабинку и, ничего не заметив, повел трамвай по всему городу. Люди с недоумением смотрели на передвижной антисоветский агитпункт, но молчали – одни из чувства солидарности, другие – из страха впутаться в опасную историю. Наконец,

какой-то гражданин набрался смелости и сообщил вожатому о надписях. Тот на бешеной скорости помчал трамвай в депо. На суде вожатый заявил, что не осматривал трамвай перед выездом, мойка же и чистка вагонов не входит в его обязанности.

Надписи продолжали появляться. На поимку преступников бросили огромный милицейский аппарат: облазили все подозрительные места, допросили массу свидетелей, произвели многочисленные обыски – бесполезно. Милиционеры сбились с ног. Время шло, а органы даже не знали, замешана тут антисоветская подпольная организация или этим занимаются одиночки-любители. Однако ни по радио, ни в газетах о надписях не обмолвились ни единым словом. Иностранные станции давали, конечно, регулярную информацию. Наконец, преступников поймали. Я узнал подробности лишь во время процесса. Их было четверо – два парня и две девушки. Ребята малевали, а их помощницы караулили и предупреждали об опасности. Парни были художниками-дизайнерами. Рисовать гигантские буквы для искушенных в своем ремесле оформителей – дело несложное: на концы длинных шестов насаживались катки, окунались в краску, и возникали надписи в самых, казалось бы, недосягаемых местах. Четверка орудовала слаженно и держала свою деятельность в строжайшей тайне. И пока так продолжалось, все шло хорошо. Но в какой-то момент, как это часто бывает, кто-то из них рассказал ближайшему другу, а тот – своему... Не донес, а так, по-свойски, по-дружески... После этого их довольно быстро раскрыли.

Нонконформисты здорово испугались, потому что если бы эти парни участвовали в наших выставках, отвечать пришлось бы всем. Но "злоумышленники" никогда не входили в нашу группу, а были близки к кружку поэта Константина Кузьминского, который тогда уже эмигрировал в Штаты.

На суде дизайнеры во всем признались, полностью взяли вину на себя и сумели выгородить девушек. Может, и раскаялись-то с условием, чтобы не тронули их сообщниц. Короче, каждому дали по семи лет лагерей и пять лет поражения в правах.

Одну из этих девушек, Наташу Лесниченко, я хорошо знал. Ее отец был крупным партийным работником. Сама она давно порвала с семьей, дружила с опальными поэтами и художниками и входила в кружок Кузьминского. Как-то она приехала ко мне в Москву, чтобы попросить за кого-то, нуждавшегося в помощи. Для себя она никогда ничего не просила. Всегда одетая в одну и ту же длинную, кем-то подаренную юбку, старенькую кофточку и неизменную вязаную шаль, Наташа кочевала из дома в дом (своего у нее не было) и постоянно за кого-то хлопотала, кого-то выручала в беде, вообще, как она говорила, "защищала униженных и оскорбленных". Она не была революционеркой, но считала, что власти должны соблюдать свою собственную конституцию, и за осуществление своих идей боролась не на словах, а на деле.

На эту девушку, розовощекую, живую, энергичную, приятно было смотреть. В нашем кругу, где многие были погружены в депрессию

и привыкли мрачно смотреть на вещи, она резко от всех отличалась. Я спросил, бывает ли у нее тяжелое настроение. "Конечно, бывает, – ответила Наташа. – От этого никто не застрахован". Но сказала так смешливо, с такой милой улыбкой, что в это не поверилось.

ЖИЗНЬ В ТУНЕЯДЦАХ

В январе 1977 года, через несколько дней после закрытия ленинградской выставки, мой домашний арест, наконец, кончился. И тут же пришла повестка из милиции. Снова начались привычные разговоры. "Вы нигде не работаете, Оскар Яковлевич... Вам необходимо трудоустроиться..." Я сказал, что меня уже вызывали, предупреждали, напоминали, требовали, что целый год они практически только этим и занимались. Для чего же вновь все начинать? Не вдаваясь в объяснения, начальник отделения милиции сухо заметил, что обязан соблюдать обычную в таких случаях процедуру и подчиняться инструкциям. "Обычная процедура" началась с беседы, которая у меня состоялась с начальником оперативного отдела по уголовным делам Карелиным. Это был представительный, лет пятидесяти, мужчина, с умным лицом и сдержанными манерами. Он спросил, почему я, будучи художником, не желаю работать как художник. Удивленный, я ответил, что я не только всю жизнь мечтал заниматься живописью, но занимаюсь ею и этим зарабатываю на жизнь.

– Но ведь вы работали раньше в издательстве. Почему бы вам вновь не заняться иллюстрацией? Мы могли бы помочь...

– Да, но я работал в издательстве безо всякой охоты. Я не иллюстратор, а художник. Если вы можете, походатайствуйте, пожалуйста, в Горкоме или в Союзе художников.

Карелин покачал головой:

– Там, к сожалению, мы бессильны. Вот видите, вновь пришлось открывать на вас дело как на тунеядца...

После нескольких "бесед" такого рода я снова получил предупреждение: "Даем на поиски работы месяц... Если за это время... и т.д. и т. п. Через месяц меня вызвали и дали сроку две недели, после чего грозили дело передать в суд.

Тучи сгущались и над Сашей. Его дело уже передали в суд и, кроме того, непрерывно вызывали в военкомат. Обычно, если человек не является, за ним приходят с милицией. У Саши накопилась целая коллекция повесток, он давно махнул на них рукой, однако ничего сверхъестественного не происходило. И мы поняли, что все эти призывы в армию были обыкновенной трепкой нервов, потому что людей, подвергающихся судебным преследованиям, в армию не призывают.

Сашино досье передали женщине-судье, опытной в такого рода делах. Только обычные ее тунеядцы были еще и драчунами, пьяницами и

хулиганами. Она с удивлением смотрела на Сашу и ничего не понимала. Даже попросила вызвать фининспектора, который бы подтвердил, что этот молодой человек действительно платил налоги с продажи картин. Тот подтвердил, что Александр Рабин просил о взимании с него таких налогов, однако для него, фининспектора, неясна сашина ситуация. Тогда судья попросила представить показания свидетелей. А кого пошлешь в свидетели? Язык не повернется попросить кого-нибудь из наших, чтобы ходили в милицию, подвергались допросу, чтобы душу из них тянули. В конце концов, в качестве свидетеля явился я. Сел перед судьей, стал рассказывать ей о наших выставках и обо всем, что с ними связано. А дело о тунеядстве – всего лишь дополнительное средство, чтобы заставить нас либо отступить, либо эмигрировать.

Передо мной сидела седоватая усталая женщина, каких тысячами встречаешь на московских улицах. Капитанская форма придавала ей жестковатый вид, но по лицу было видно, что вся эта информация совершенно ее озадачила. К тому же я добавил, что вчера ходил на прием в американское посольство. Об этом приеме сообщалось в газетах, и судья смотрела на меня с недоумением. Такого странного дела у нее еще не было. Наконец, она сказала:

– Хватит! Пора говорить об интересующем нас вопросе.

– Но я и говорю об интересующем нас вопросе!

Она молча поднялась и вышла. Вскоре с ней в комнату вошел худощавый человек в гражданском и внимательно на меня посмотрел:

– Что бы вы здесь ни рассказывали, я все же утверждаю, что ваш сын преследуется по закону именно как тунеядец!

– Знаю, – вздохнул я, – все знаю. Сам преследуюсь за тунеядство, с той лишь разницей, что дело еще не передано в суд.

– Ладно, – сказал он. – Подпишете протокол?

Я отказался:

– Пишите, что хотите. Это ваша игра. А у нас свои заботы.

На другой день Саша получил сразу две повестки: в одной приказ с кружкой, ложкой и т. д. явиться к призывному пункту в военкомат, в другой – требование явиться к судье. Когда рассказываешь сейчас, все кажется даже комичным. Но тогда было не до смеха. Моментами казалось, что не выдержишь, сойдешь с ума. Особенно жалко было Сашу. Я понимал, что его преследуют из-за меня, а если посадят, то тоже только из-за меня – чтобы оказать на меня давление. Саша молодой, мало еще известный художник. А Оскара Рабина все-таки знают. С ним расправляться надо исподволь, постепенно и осторожно. Сначала дом конфисковать в деревне, затем сына посадить как тунеядца. А потом послать "Леву": "Ну, что же это вы, Оскар Яковлевич, разве так можно?.. Эмигрировать вам надо немедленно. Тогда и сына, глядишь, отпустят. Послушайтесь доброго совета!.."

Друзья, как всегда, подливали масла в огонь:

– Разве можно до такого доводить? Пусть Саша скорее эмигрирует, пока не случилось худшее.

Саша сам не знал, как ему поступить. Иногда, убежденный довода-

ми знакомых, он соглашался эмигрировать, но уже на другой день отказывался:

– Куда я поеду! Без друзей, без семьи, без родных... Нет, пусть уж лучше посадят!

Конца этому не предвиделось. Валя плакала, говорила: "Мы не имеем права издеваться над сыном. Ты знаешь, как я не хочу уезжать, но ради него готова эмигрировать". Я молчал. Я понимал, что она права, но инстинктивно, даже сам не понимая, почему, увиливал:

– Ладно, – говорил я Вале, – на будущей неделе обязательно пойду в ОВИР. Ведь за два-три дня ничего не изменится.

Проходила неделя, и снова я отнекивался:

– Ну подождите... Подождите немножко!..

Я оттягивал, как мог, и не шел в ОВИР. Я не хотел уезжать навсегда, но знал, что если бы мне грозил лагерь без возможности рисовать, заниматься живописью, то я бы, конечно, эмигрировал. Оставшиеся годы жизни, – а мне уже было около пятидесяти, – я хотел рисовать и только рисовать.

Наконец, в соответствии с 209-й статьей Уголовного Кодекса о тунеядстве сашино дело передали в суд. Саша, естественно, спросил, когда он состоится. Ответили туманно, мол, в положенный срок известят. Нам оставалось или ждать суда, или просить разрешения на эмиграцию.

Но тут – была весна 1977 года – власти сами решили ускорить события. Однажды ко мне прибежала встревоженная женщина, с которой у Юры Жарких для прописки в Москве был оформлен фиктивный брак. Выходя таким образом замуж, эта женщина хотела помочь Юре, которого, как и нас, преследовали милиция и КГБ. Он был непременным участником всех наших "диких" выставок. Чудаковатый, независимый и упрямый. Юра любил внезапно, никого не предупредив, вдруг исчезать из Москвы. Куда – никто не знал. Так случилось и в этот раз. Женщина сказала, что к ней явилась милиция и что Юру ищут. Она попросила, чтобы в случае чего я подтвердил, что Юра иногда ночует у меня. Я, конечно, согласился, но это ничего не изменило: едва Юра вернулся, его доставили в милицию, где объявили, что лишают его московской прописки, и дали три дня сроку, в течение которого он должен был покинуть Москву.

Напрасно Жарких доказывал, что это невозможно.

– Вот именно, возможно, – отвечали ему, – потому что вы у вашей жены не живете... И вообще довольно обсуждать эту тему. Не послушаетесь – будем судить.

Ну что можно было предпринять? Позвонили иностранным корреспондентам, но от этого практической незамедлительной помощи почти никакой. Трое суток на сборы дали, очевидно, не зря – предоставили возможность делать какие-то шаги. Юра кинулся в Горком. Ащеулов откровенно ему сказал:

– Плюнь на все, приходи на заседание, покайся, побей себя в грудь, – мол, виноват, ошибался, больше не буду!

– Но в чем же я виноват? В чем мое преступление? – спросил Юра.

– Не притворяйся дурачком. Прежде всего ты должен обещать, что никогда не будешь участвовать в этих дурацких выставках и подписывать открытых писем, которые направляются иностранцам и в Самиздат, и что вообще... будешь вести себя нормально.

Жарких отказался каяться и давать какие бы то ни было обещания. Выход оставался один – эмигрировать. Но для этого нужна справка с места жительства, которого уже, увы, не существовало. К тому же Юра – не еврей, и вызова у него нет. Однако у Юры имелось приглашение из Германии на три месяца от одной немецкой семьи, которая недавно уехала из Москвы. У меня, кстати, было точно такое же приглашение, но я особого значения ему не придавал, а держал просто так, на всякий случай.

Посовещавшись, мы решили, что Юра должен идти на прием сразу в Центральный ОВИР и не уходить оттуда до тех пор, пока не выбьет разрешения на поездку в Германию. Наивно, конечно, но что делать? С Жарких пошел художник Иосиф Киблицкий, который давно, но тщетно добивался разрешения на выезд в Израиль. К этому времени у него уже была невеста (немка из ФРГ), и он надеялся, женившись на ней, уехать из Советского Союза. Его желание исполнилось, но только через несколько лет, в течение которых он просил, требовал, объявлял много раз голодовки. Сейчас Киблицкий живет в Дюссельдорфе.

Инспекторша в ОВИРе, узнав об их просьбе, замахала руками: "Нет! Нет!". Но они так буйно запротестовали, что женщина, пригрозив, что вызовет милицию, все же принялась звонить начальству. После долгих телефонных переговоров она сказала, что их ждут на втором этаже, в кабинете номер девятнадцать.

– О, – воскликнул "тертый калач" Киблицкий, – это уже что-то новое. – Потом шепнул Юре на ухо, что того переместили в высшую категорию просителей, ибо второй этаж предназначался для иностранцев и советских "особого ранга".

И вот они вошли в кабинет зам. начальника ОВИРа Александра Григорьевича Зотова. Это был человек лет шестидесяти, очень полный. Огромный лоб нависал над тройным подбородком, взгляд был неприветливым и мрачным. Однако этот человек, когда хотел, мог очень любезно улыбаться и изображать на лице внимание и мягкость. Голос, как по волшебству, вместо грубо-начальственного, становился нежным и даже приторным. Зотов принял Юру с Киблицким дружески просто:

– Входите, входите, ребятки. А вот ты, – он ткнул в сторону Юры жирным пальцем, – расскажи, кто ты такой и что у тебя стряслось?

Пока Юра рассказывал, Зотов сочувственно поддакивал. Под конец Юра сказал, что хочет эмигрировать, потому что больше не может и не хочет жить в СССР. Зотов спросил, есть ли у него израильский вызов, хотя отлично знал, что нету. Но это составляло часть игры.

– Приглашение из Германии? Покажите.

Приглашение было написано от руки, подписано и заверено в консульстве.

— Хорошо, — сказал Зотов, — годится.

Вмешался Киблицкий и коротко обрисовал свою ситуацию.

— Ладно, — пообещал Зотов, все еще полный благодушия, и снова повернулся к Юре: — Заполните бланки в четырех экземплярах, копии не принимаются. Вы нигде не работаете, поэтому справку с места работы не надо, а с места жительства...

— Но у меня нет места жительства! — возразил Юра, — потому что меня лишили московской прописки! Что мне делать?!

— Успокойся, Юра, — прервал Зотов, — не паникуй зря. Ты отлично знаешь, что всегда можешь переночевать и без прописки, а что касается справки, то в случае отказа звони сюда, не раздумывая. Ну, вот, поладили... Теперь скажи-ка... — Он вдруг зорко глянул на Юру из-под нависших бровей. — А Оскар Яковлевич когда думает сюда наведаться?

Юра опешил:

— А почему он должен к вам приходить? Его же сюда не приглашали...

Зотов раздраженно перебил:

— Но вы же друзья! Часто встречаетесь. Перед приходом сюда наверняка обсуждали, что да как... Вот и передайте ему: если хочет оформить вызов, пусть приходит. И вообще, приводите ко мне ваших друзей-художников, которые подумывают об отъезде. Ни в какие другие инстанции не обращайтесь, так и идите прямо ко мне.

Юра с Киблицким примчались на Преображенку, едва переводя дух, и с порога стали рассказывать. Мы были удивлены. Да где же это видано, чтобы художники-нонконформисты могли беспрепятственно ехать на Запад? У меня ведь тоже есть такое приглашение. А что, если попытаться? Припомнили, что Олег Целков хотел эмигрировать, но имел не израильский вызов, а приглашение в гости на три месяца из Франции. Мы тут же ему позвонили и рассказали обо всем.

Олег с Киблицким и Юрой отправился в ОВИР к Зотову, тот очень любезно его принял. Потом спросил:

— Но почему же вы хотите эмигрировать, если у вас есть приглашение из Франции?

Целков, растерявшись, стал объяснять, что он хочет поработать во Франции, устроить там свою выставку.

— Так это же очень просто! — сказал Зотов. — Зайдете в советское консульство в Париже и попросите продления визы на месяц или на год, если надо.

Олег, наконец, опомнился:

— Да я бы никогда и не подумал об эмиграции, если бы можно было съездить, пожить и нормально вернуться.

Зотов поднялся:

— Отлично. Если понравится, оставайтесь во Франции. Живите! Там много наших граждан, и ничего в этом предосудительного нет. А если вдруг не понравится, милости просим — возвращайтесь. — Он ухмыльнулся. — Ведь на Западе, знаете ли, не всем везет.

Слушать все это было очень удивительно. Когда они уже уходили, Зотов как бы невзначай спросил:

– Ну, а Рабин, он все еще не решился сюда заглянуть?

Подобный же вопрос, как потом выяснилось, он задавал и другим моим знакомым, которые к нему приходили по вопросам эмиграции. Значит, мне намеренно подсказывают ход действий? Что делать?.. Может, и мне попросить, чтобы пустили на три месяца в Германию? Они, конечно, могут обмануть, психологически подготовить к поездке, а когда настроюсь, сказать, что могу лишь эмигрировать. Но попытаться стоит.

Приезжаю в ОВИР прямо к Зотову и говорю, что приехал, мол, для получения информации: могут ли моя жена, сын и дочь использовать приглашение, которое я получил из Германии?

– Поезжайте для начала с женой, – сказал он. – На четырех человек добиться разрешения гораздо трудней.

Я отказался. Тогда он дал для заполнения четыре бланка. И сразу же мы стали собирать необходимые бумаги, справки и фотографии в четырех экземплярах. И ровно через три дня почтальон принес Саше израильский вызов на всю его семью. Любопытное совпадение: через два дня и я, вообще не просивший никакого вызова, получил приглашение от некоей Ханы Осдом из какого-то маленького израильского городишки, о котором я до этого и слыхом не слыхал.

Израильский вызов я положил подальше в ящик, все же надеясь, что Зотов не соврал насчет туристической поездки в Германию. Однако появление этого непрошенного вызова меня разозлило. Я говорил об этом с друзьями и знакомыми и даже с Виктором Луи, которого встретил на одном из дипломатических приемов: "Не надо на меня давить, не нужно насильно заставлять эмигрировать. Я сам решу, как мне поступить".

Наконец, все бумаги передали Зотову. Он велел позвонить дней через десять, но буквально на третий день Юра Жарких уже передавал просьбу "шефа" срочно явиться. Прихожу. Зотов сердечным тоном объявляет, что "новости нехорошие – отказано". Как всегда при беседах с начальством, я приучил себя быть сдержанным, никаких чувств не проявлять и в пререкания не вступать. Молча выслушал, сказал "хорошо" и направился к двери.

– Да подождите же! – закричал Зотов. – Что вы, в самом деле, так странно себя ведете? – Дальше-то что?!

– Да ничего. Попрошу еще одно приглашение. Принесу вам, снова заплачу тридцать рублей, заполню все бланки, ну и...

– Все это вы можете начать не раньше, чем через полгода... Да подождите, сядьте же! А почему, собственно говоря, вам бы не подать просьбу о выезде в Израиль? Ведь вызов же есть...

Я улыбнулся:

– Ну да, об этом вы позаботились. Только я же его не просил!

Я ушел. И все началось сначала. В общем, в это время я уже почти не боялся, но видел, к чему клонится – очень согласованно работала гебистская машина: тут и тунеядство, и сашины повестки в военкомат,

и израильский вызов, и, наконец, откровенное приглашение эмигрировать. "Левы" участливо меня предупреждали, что я должен бояться за свою жизнь и за жизнь близких. "Один" из них (работавшая на химзаводе дама) ни с того, ни с сего заявилась и стала рассказывать жуткую историю об отравлении какого-то несчастного диссидента: "Прислушайтесь к моему совету! Я зря болтать не стану. Если почувствуете позывы на рвоту, немедленно примите противоядие! Если хотите, я вам посоветую, какое, я в этом понимаю". Безусловно, отравление производилось, но пока – психологическое. От меня хотели избавиться любым путем, но я, наверное, уже больше из упрямства, не собирался облегчать им задачу.

АРЕСТ

Не прошло и недели, как я получил еще одну повестку из нашего отделения. Помню, была пятница, потому что уже в воскресенье я должен был провожать Жарких в Шереметьевский аэропорт. Поведение Зотова казалось необъяснимым: Целкову он теперь заявил, что можно только эмигрировать, после того, как сам же посоветовал сохранить советское гражданство. Юра, который всем говорил, что не хочет возвращаться, получил трехмесячную визу на поездку в Германию, меня под всякими предлогами заманивали в ОВИР, чтобы уговорить эмигрировать.

В эту пятницу капитан Лосев, с которым у меня сложились относительно хорошие отношения, озабоченно сообщил, что следствие по моему делу закончено. Обычно Лосев просто указывал, что в такой-то день и в такой-то час мне надлежит явиться в отделение. На этот раз они написали новую повестку, в которой почему-то отмечалась другая фамилия начальника милиции. Меня это насторожило. В понедельник, перед тем, как идти к Лосеву, я позвонил Саше и попросил его приехать, сидеть и ждать моего возвращения. Но я не захватил с собой даже лишней пачки сигарет.

Лосев, обычно державшийся со мной запросто, даже с какой-то сердечностью, на этот раз был замкнут и сугубо официален. На столе лежала объемистая папка – мое досье.

– Итак, вы по-прежнему нигде не работаете? – сухо осведомился он.

– Но я же приходил к вам в пятницу! Что могло измениться за два дня?

Он набрал номер и назвал фамилию, помеченную в повестке. Почти тотчас в комнату вошел небольшого роста человек в серой форме со знаками различия, в которых я не очень хорошо разбирался. Выражение лица и тон – исключительно начальственные.

– Ваша повестка?

– На столе.

– Документы?

Меня передернуло:

– Да кто вы такой, в самом деле, чтобы так со мной разговаривать? Мое дело ведет начальник отдела товарищ Лосев, а вас я знать не знаю...

– Я ваш следователь.

– Хорошо. Какие вам нужны документы?

– Паспорт, военный билет, трудовая книжка.

– Я протянул паспорт:

– Вот паспорт. Все остальное дома.

– Отлично. Проведите его, – он кивнул стоявшему рядом со мной милиционеру.

Мы спустились по лестнице, которая вела к камерам предварительного заключения, прошли по длинному, узкому коридору с грязными зеленоватыми стенами и остановились у зарешеченного окна, выходившего на Преображенский рынок. Возле одной из камер стоял стул, напротив, судя по запаху, располагался туалет. Милиционер велел мне сесть и разрешил курить. Вскоре в уборную прошмыгнул тощий человечишка, ежась от холода и запахивая на груди потемневшую от грязи рубашку.

– Видал? – спросил милиционер. – Задержали на рынке... Продавал костюм, а у самого лишь рубашка да брюки. Документов никаких. Будут теперь держать до выяснения личности. Родни у него здесь никакой, значит, и жратвы никакой. Держим мы обычно не больше трех суток, – пояснил он. – Ну, родные приносят подкрепиться и одежду потеплей. Холодно у нас! В обед – баланду, утром и вечером – хлеб с кипятком. Вот и вся еда. А этот... Почти месяц у нас сидит, бедолага!..

Прошло часа полтора. Наконец, пришел следователь с Лосевым. У Лосева вид пришибленный и запуганный, видно по всему, что перетрухнул, как бы ему боком не вышли наши почти приятельские отношения. Следователь приказал ему довести меня до дому, чтобы взять недостающие документы. Я обрадовался: сумею своих предупредить, а когда вышли на улицу, спросил, смогу ли выпить дома хоть чашку чая.

– Конечно! Конечно! – с готовностью закивал он, превратившись снова, как по волшебству, в прежнего отзывчивого Лосева.

Уходя, я предупредил Сашу, чтобы пока ничего не говорил Вале и, в особенности, иностранным корреспондентам. Велел ему ждать до четырех часов, потом с Валей идти в милицию. Если следователь подтвердит, что меня посадили, тогда пускай сообщают всем.

В милиции следователь уже ждал нас, взял документы и злобно приказал:

– А теперь снимайте часы! Только посмотрите сначала, сколько времени, и запомните. Попрошу также вынуть шнурки из ботинок, снять пояс и вывернуть карманы! Время запомните! – угрожающе напомнил он. (Чтоб знал, значит, время посадки и посадки длительной!). Отобрали также очки в железной оправе. Нельзя.

Я поднял на следователя глаза:

– Так, значит, вы меня сажаете?

– Да, – просто ответил он.

Меня отвели в камеру, где уже сидел заключенный – не то грузин, не то армянин, который тут же стал рассказывать, что его обманули, оклеветали, обвинили в грабеже... Но дослушать не пришлось – за мной снова пришли, чтобы отвести в больницу: требовалось проверить, гожусь ли я для физической работы. Больница была недалеко, но мы с Лосевым довольно долго туда добирались, потому что ботинки сваливались и брюки постоянно сползали. Лосев с любопытством спросил, боюсь ли я.

– Нет, – сказал я. Я и в самом деле не боялся. Просто на душе как-то муторно было.

– Быть не может! – удивился капитан. – Ты же отлично знаешь, что тебя могут посадить, и надолго. Погляди, кругом без конца сажают.

– Все это так, конечно, только со мной случай немного особый... Ты "Голос Америки" слушаешь?

– Да, – неохотно признался он.

– Ну, так вот, послушай завтра, тогда, может, понятней станет... Невыгодно им все это раздувать, превращать в политическую акцию, понимаешь?

Он промолчал.

В больнице меня осматривали три врачихи. Они вели себя на редкость тактично, спрашивали, не жалуюсь ли я на сердце, не болит ли голова?

– Нет.

– У вас повышенное давление! – объявила одна из них и повела меня к заведующей. Та внимательно осмотрела и со значением сказала:

– При плохом состоянии здоровья мы освобождаем людей от физической работы. Вид у вас довольно неважный. Наверняка есть какие-то нарушения. На что жалуетесь?

– Ни на что. Гастрит время от времени дает о себе знать, а в остальном...

– А все же, – настаивала заведующая.

Мне захотелось быть откровенным с этой симпатичной женщиной и я сказал:

– Поймите, я не тунеядец, я – художник! Дело, которое мне шьют, в действительности политического характера. Меня хотят посадить – пусть сажают. Пусть делают, что хотят. Но я не хочу облегчать им жизнь, представляться больным, чтобы они могли показать, какие они добрые, человечные... Нет!

Заведующая слушала меня сочувственно, но я видел, что до нее не доходит, о чем идет речь.

– Ну да, ну да, вам же самому лучше знать, что для вас требуется.

Она прописала лекарства для понижения давления и от гастрита и – на отдельном листочке – резолюцию: "Годен к физической работе'.

Когда вышли из больницы, Лосев на меня набросился:

– Ты сошел с ума! Зачем ты так сказал? Не понимаешь, что ли, что такое "физическая работа" в лагере?

– Черт с ним! – махнул я рукой. – Будь, что будет.

Я явился в камеру как раз к обеду. Давали баланду и серые котлеты (по-моему, без кусочка мяса) с такими же серыми макаронами. Ничего страшного. Бывало и похуже. Я съел все, кроме черного хлеба, – боялся, что поднимется изжога, а соду у меня отобрали при обыске. Следователь, кстати, и рецепты забрал, которые мне выписали в больнице. Вместо того, чтобы передать их Вале, как он мне обещал, оставил их у себя. Но об этом я узнал позже. Вместо чая полагался кипяток, но завхоз уехал в отпуск, а милиционерам было лень вскипятить бачок, так что пришлось запивать водой из-под крана.

За мной снова пришли и повели к следователю. В кабинете за машинкой уже сидел молодой человек, готовясь записывать протокол.

– Ваше имя? – начал следователь.

Я посмотрел в его небольшие серые глазки и сказал:

– Начиная с этой минуты, я не скажу ничего. Можете писать, что хотите, мне все равно. Это последние мои слова.

Следователь еще некоторое время хорохорился, задавая вопросы, но кончилось тем, что меня отвели в камеру. Вскоре он явился туда с бумагой, сказал, что это постановление о предварительном заключении, и велел подписать.

– Оставьте меня в покое с вашими глупостями!

– Отлично! Подпишут за вас.

– Знаю.

К шести часам вечера под конвоем нескольких милиционеров в закрытой наглухо машине меня перевезли в тюрьму предварительного заключения – несколько домиков, отделенных друг от друга заборами.

Офицер, перед которым я очутился, начал привычно:

– Ваше имя...

Я прервал, сказав, что на вопросы отвечать не буду. Он опешил:

– Что с вами?! – И с какой-то даже обидой: – Что я вам сделал?

Тут зазвонил телефон, офицер снял трубку, и я понял, что речь шла обо мне. Положив трубку, он приказал, чтобы меня тотчас отвели в камеру.

Там находилось четверо заключенных, один из них – уже знакомый с длинными по моде волосами – кинулись ко мне с расспросами:

– По какой статье?

– По двести шестой.

– Как, – удивились они. – За хулиганство? Ты? Да как же?

– Я ошибся. По двести девятой.

– А-а, так ты, значит, отлыниваешь от работы, папаша!

Но в общем, были ко мне очень внимательны, тут же устроили место на цементном помосте, устланном газетами, гораздо более чистом, чем в нашем отделении милиции. На нем можно было лежать впятером, не касаясь друг друга. Тяжеловато, что все курили, в непроветриваемом помещении не хватало воздуха. Но если надзиратель попадался "доб-

рый", он чуть-чуть приоткрывал дверь и даже разрешал подогреть кипяточку. Сидевшие до нас оставили чай и сахар. Тут было лучше, чем в камерах рядовой, районной милиции.

Каждый из моих сокамерников, как они говорили, уже провел полмесяца в КПЗ и во всем прекрасно разбирался.

– Ты чего грустишь, папаша? – спрашивали они. – Через полтора месяца Октябрьские праздники, и вся двести девятая подпадет под амнистию. Нам бы твои заботы!

У них за спиной дела были посерьезней: по нескольку лет отсидки за ограбление да впереди неизвестно сколько за новое, совершенное недавно. Они обсуждали, как не повезло, что четвертого сообщника отсадили в другую камеру, и они боялись, что не сумеют дать на следствии и на суде согласованных показаний. Так что вся энергия уходила на изобретение хитроумных планов по налаживанию контактов с другими камерами да на добывание поллитры, которую тайком приносила подружка одного из них, что было далеко не легким делом и зависело от того, когда и какой надзиратель работал. Все остальное время они рассказывали истории из воровской жизни, один раз даже заговорили на тему о величии и могуществе России, только на особый манер. Запомнилась история о завоевании Ермаком Сибири в их интерпретации. Вот стоят друг против друга два войска – русское и татарское, должна начаться битва, и в это время Ермак бросает татарскому хану вызов: сначала сразиться один на один – кто кого. Условие такое: поверженный наземь обязан поцеловать у победителя член. Побеждает, естественно, Ермак, у которого, естественно, член длиной в полметра, и валяющийся в пыли враг смиренно выполняет условие. Ура! Да здравствует могущество Руси!

На другой день надзиратель вызвал меня в коридор и сказал, что под окном во дворе меня ждут. Пришли Валя, Саша и несколько друзей, принесли теплую одежду, очки в пластмассовой оправе, чаю, сахару, соды, белого хлеба, печенья, огромную плитку шоколада и два блока сигарет. Они сказали, что если верить следователю, то сегодня ордер на арест должен быть подписан прокурором. Поднаторевшие в подобных делах сокамерники, посовещавшись, пришли к выводу, что меня непременно переведут в Матросскую Тишину. Позже Валя рассказывала, что я, бледный, небритый, вцепившийся обеими руками в железную решетку, мог служить отличной моделью для плаката "Свободу политзаключенным!" Съестное в камере держать не разрешалось (хранилось в ящике в коридоре под охраной надзирателя), и я пронес только одежду, очки и сигареты.

Вскоре за мной пришли, чтобы отвести к прокурору. В большой, устланной красным ковром комнате, за столом сидело несколько человек, в том числе и мой следователь. Не успел никто ничего сказать, как я, совершенно уже доведенный до крайности, с места в карьер заявил, что пусть меня судят, пускай делают, что хотят, но и тюрьмой не заставят меня эмигрировать. Все. Больше я ничего не скажу.

Прокурор, высокий человек в темном костюме, внимательно на меня посмотрел:

– А чего, собственно говоря, вы так волнуетесь? Ну да, вы, конечно, нарушили закон, однако, тем не менее, вас никто прятать в тюрьму не собирается. Вы свободны.

Робко вмешался следователь, с которого все высокомерие как ветром сдуло:

– Но ведь его нельзя так вот сразу освободить... Необходимо бумаги заполнить...

– Уладьте, пожалуйста, эти формальности! – раздраженно, с оттенком брезгливости бросил прокурор.

Следователь повернулся ко мне. Теперь он прямо-таки пел, а не говорил:

– Будьте любезны съездить со мной в милицию для подписи документов об освобождении.

– Пусть сначала заберут мои вещи из КПЗ, – буркнул я довольно грубо.

Я забрал вещи, продукты оставил сокамерникам, пожелал им скорейшего освобождения и вернулся домой. В комнате толпилось много народу, абсолютно уверенного, что после подписания прокурором приказа на арест меня препроводили в тюрьму. Вскоре и "Голос Америки" объявил о моем аресте. Пришлось срочно звонить иностранным корреспондентам.

Преображенка превратилась в настоящий улей. Телефон все еще был отключен, и люди приходили за новостями. А мне, как всегда, после напряженного, изматывающего все силы периода, не терпелось работать, причем писать не то мрачное и тяжелое, чего я насмотрелся, а, наоборот, что-то свежее, нежное, прекрасное. Кстати, после первого "бульдозерного" моего ареста я набросал контуры дежурки и милицейских окон, забранных решетками. Но рисунка так и не закончил и больше никогда к нему не возвращался. На этот раз я пошел на рынок и купил большой букет цветов.

Целую неделю после моего освобождения в квартире толпился народ. Пришел и капитан Лосев. Он стеснялся, стоял у порога и не хотел заходить, сказал: "Я просто так пришел. Поздравить. Вот видишь, как хорошо все устроилось! Не посадили тебя... А среди наших слух прошел, дескать, разоблачили одного сиониста, а на самом деле, этот сионист – ты. Ну, я-то, знаешь, не верю. Болтают всякую чушь..."

Мое пребывание в КПЗ, каким коротким оно ни было, дало мне важнейшее знание: я не боюсь тюрьмы. Теперь я это знал точно. И абсолютно уверенно сказал себе и Вале, что ни за что не эмигрирую. Тем более, что теперь, после тюремного эксперимента, власти вряд ли решатся все повторить сначала. Да и Сашку вряд ли посадят. Я же своего решения ни за что не переменю.

И все-таки я был потрясен случившимся. И, может, в большей степени освобождением, чем арестом. Почему они меня освободили? Решили поменять тактику? Захотели избегнуть большего скандала? Я, кстати, и сам был удивлен активностью иностранного радио: передавали информацию об аресте и рассказывали о возмущении, которое он вызвал на Западе. Случай для гебистов действительно нелегкий. Ведь я, в конце концов, был всего-навсего художником, и обвинить меня в антисоветчине можно было лишь на основании моих картин, что, конечно, убедительно объяснить трудно. Тем не менее, избавиться от меня уже было, по-видимому, необходимо. Но как? Эмигрировать я отказывался.

Много времени на размышления подобного рода мне не дали. Уже через неделю Саша получил из ОВИРа открытку с просьбой позвонить.

– В вашем досье не хватает одного документа, – сказала инспекторша, – подтверждение вашей жены, что она не протестует против вашей туристической поездки в Западную Германию на три месяца.

– Но ведь мне было в ней отказано! – удивился Саша.

Инспекторша ответила:

– В вашем досье нет никакого отказа. Не хватает только заверенного в домоуправлении разрешения вашей жены.

На следующий день я получил из ОВИРа точно такую же открытку. Та же самая инспекторша любезно спросила, не изменил ли я своего решения относительно туристической поездки на Запад.

– Мне же отказано в визе!

– Да нет же! – запротестовала она. – Я проверила ваше досье.

На Преображенке начались яростные споры и обсуждения. У каждого было свое мнение. Одни говорили, что война на измотку нервов продолжается и что я получу новый отказ. Другие считали, что меня выпустят, но обратно не впустят. Некоторые были убеждены, что мы сможем уехать, но, попробовав сладкой западной жизни, сами не захотим вернуться.

Что же касается нас с Валей, то мы твердо решили вернуться. Для нас был важен сам принцип свободы передвижения, возможности свободно, по туристической визе поехать за границу и свободно вернуться. Да и к чему было заваривать кашу, если можно было просто эмигрировать?

Конечно, я знал, что выпустив на Запад с советским паспортом, могут лишить гражданства, как лишили уже нескольких человек. Но я почему-то цеплялся за надежду, что нелепо лишать гражданства художника или деятеля искусств. В качестве примера ссылался на Ростроповича с Вишневской, которые тогда еще спокойно работали на Западе, с советскими паспортами.

В общем, когда мы уезжали, то ничего с собой не взяли. Хотелось думать, что мы вернемся. Я в это верил до того самого момента, когда советский консул в Париже отобрал мой паспорт и объявил, что я лишен советского гражданства.

Однако возвратимся к ОВИРу. Через несколько дней после звонка прислали открытку с приглашением явиться мне и Саше и потребовали по 271 рублю с каждого. По 270 рублей за визу и рубль за паспорт. Для Вали никакого паспорта. Тогда я сказал Зотову, что своего паспорта не возьму. Тот протянул Саше паспорт. Мой лежал на столе.

– Ну, а вы? – спросил Зотов.

– Я без жены не поеду, – сказал я.

– И что в таком случае делаю я? – спросил Зотов язвительно. – В таком случае я рву ваш паспорт. На что вы теперь рассчитываете? И почему не спрашиваете о причинах отказа жене?

– А и вправду, почему?

– А потому, что есть лишь одно индивидуальное приглашение, и оно – на ваше имя. Мы уже и так пошли навстречу – без законных оснований приняли документы. А про жену и говорить нечего! – Он хитровато на меня поглядел: – Вы, наверное, про сына думаете. Имейте в виду, что сыну дали визу в виде исключения. Все-таки вы уже не молоды, и вам в путешествии понадобится помощник и товарищ.

– Прекрасно. Теперь я постараюсь достать приглашение и для жены. – Я повернулся, направляясь к двери,и, уже выходя, услышал прозвучавшие в голосе Зотова угрожающие нотки:

– Это ни к чему хорошему, Оскар Яковлевич, не приведет. Вам придется ждать еще шесть месяцев.

– Подожду...

Приглашение для Вали дала невеста Киблицкого. Зотов сухо по телефону сказал, что надо снова платить тридцать рублей и переделывать валино досье. Я поехал в ОВИР за бланками.

– Покажите приглашение, – скривился Зотов. – Так-так... Имейте в виду, что просьбу рассмотрят исключительно ради вас.

Вот уж какой я особый человек! Теперь не было никаких разговоров ни о шести месяцах, ни о переделке досье. Через неделю Зотов звонил непосредственно Вале и поздравлял с получением визы. Когда я приехал за паспортами, Зотов еще раз напомнил об инструкции, как советские граждане должны вести себя за границей, и попросил, чтобы я разъяснил это Вале.

– Если понадобится продлить визу, достаточно зайти в консульство той страны, где вы будете, – сказал Зотов. На этом разговор с ним закончился.

В нашем распоряжении было три месяца, начиная с даты выдачи паспортов, но мой был выдан две недели назад, так что у меня оставалось теперь лишь два с половиной месяца. А еще требовалось пробивать разрешение на вывоз за границу собственных картин. До сих пор не представляю, откуда у меня взялось столько сил, энергии и настойчи-

вости, чтобы хоть в какой-то мере пробить стену чиновничьей косности и упрямства. И в самом деле, к эмигрантам, которые увозили свое имущество, они кое-как приноровились. Но отправляющийся в турпоездку художник, который хочет взять несколько собственных работ, – это уже что-то новое! Тут надо держать ухо востро!

Прежде всего меня направили в Новодевичий монастырь в спецотдел для разрешения к некоей Лебедевой из Министерства культуры. Мне уже доводилось с ней сталкиваться в связи с одной из наших выставок. Она сказала, что я имею право взять с собой три картины, пять рисунков и несколько гравюр. Ну, уж нет! Посоветовали звонить в отдел охраны художественных ценностей Халтурину. Позвонил. Халтурина нет, он за границей. Тогда я написал заявление, что, мол, в СССР никогда официальным художником не считался, государство не купило у меня ни одной картины. Поэтому распространяющиеся на советских художников директивы ко мне отношения не имеют. Я просил, чтобы мне разрешили взять с собой 18 картин, 7 полотен Саши и валины рисунки.

Время шло, срок визы истекал, а разрешения на вывоз картин даже и не предвиделось. И немедленно, как водится, вспыхнули подозрения: а, может, все эти штуки с визами сделаны для отвода глаз, а, может, власти за это время вообще передумали и в последний момент сорвут поездку. Ведь подобные вещи случались постоянно. Друзья советовали брать разрешенные картины и убираться подобру-поздорову. Меня эти советы раздражали и вызывали упрямое желание сделать наперекор.

Халтурин, наконец, объявился, потребовал список работ, по три фотографии каждой. Началась невероятная беготня и нервотрепка. А время шло. До истечения срока визы оставалось двадцать дней. Обещали прислать на дом специальную комиссию, а ее все не было. Когда нервы были натянуты до предела, гляжу, заявляются. Расселись, смотрят работы. Окончательное решение таково: Вале и Сашке можно, в принципе, забирать все. Со мной же гораздо сложнее. К примеру, "Паспорт" – официальный документ с гербом представлен в исключительно мрачных и унылых тонах. "Мы не желаем, – заявила комиссия, – чтобы на Западе увидели картину советского художника, пронизанную таким настроением". Отвергли также картину с летящими над границей избушками, ту самую, из-за которой вспыхнул скандал на ВДНХ, когда комиссия расценила ее как антисоветскую. Эксперт из Третьяковки протестовал против "Улицы Святой Богородицы", якобы оскорбляющей религиозные чувства верующих. А я за эту "Улицу", которая десять лет назад доставила мне столько неприятностей на шоссе Энтузиастов, боролся с особым упорством. "Помойку №8" вообще не стали обсуждать, так же, как и одну из последних работ, "Чертово колесо".

На этом холсте почти всю картину занимало гигантское чертово колесо. Внизу – на фоне заводов и блочных домов – мое отделение милиции, в окошке беспокойный красноватый свет, на вывеске – "Отделение милиции №30 – КГБ". В верхней кабинке – Женя Рухин в гробу

с иконой Пресвятой Богородицы в изголовье. В другой кабинке – два пьяницы, рабочий и солдат, пьют водку. В третьей стоят, обнявшись, голые мужчина и женщина. И, наконец, в последней кабинке я изобразил самого себя, глядящего на людей, которые крутились в чертовом колесе, и крутящегося вместе с ними. Это была наша общая жизнь.

Комиссия объявила, что за картины на таможне положено платить стопроцентную их стоимость, а сколько беру за свои работы я, они, мол, отлично знают.

– У меня таких денег нет, – сказал я. – Но уж если вы оцениваете по их "истинной", по вашему мнению, стоимости, то примите во внимание, что до сих пор ни одна из них не удостоилась быть купленной ни государством, ни Министерством культуры, которое вы представляете...

Они сказали, что подумают, и, позвонив через двое суток, сообщили, что приняли решение. Должен сказать, что они поступили со мной по-Божески. С Саши, как с молодого художника, не взяли ни копейки, с Вали – по 15 рублей за рисунок, с меня – от 50 до 200 рублей за работу. Всего – 1700 рублей. Было, конечно, жаль выбрасывать на ветер такую сумму. Тем не менее, беря с меня деньги, власти волей-неволей утверждали мое звание художника, "узаконили", так сказать, что было само по себе уже приятно. Мне разрешили взять тринадцать картин.

Расходов оказалось великое множество, поэтому решили не тратиться зря на самолет, а ехать лучше поездом, тем более, что езда по железной дороге все-таки приятнее: что-нибудь увидишь через окно – краешек Польши, Восточной Германии... В ОВИРе нам выдали валюту из расчета 420 рублей на человека и объяснили, что советские граждане имеют право брать с собой по шести килограммов продуктов (исключая икру), литр водки и, кроме всяких мелочей, почему-то телевизор, стиральную машину, пылесос и электрополотер (!). Ну, что ж, начальству виднее, что необходимо туристу для заграничной поездки.

Все необходимое покупали на рубли – сковородку, кипятильник, кастрюлю, электробритву. Друзья раздобыли импортный чайный сервиз, и мы тоже его запаковали – а вдруг пригодится? Взяли наволочки, простыни, два лучших одеяла. Повезло с чемоданами. У нас были только старые картонные, изношенные до такой степени, что сквозь дыры торчали какие-то клочья. Ну, как с такой дрянью отправишься за границу? Выручили опять-таки друзья. По блату достали большие, оранжевого цвета польские чемоданы.

Пришлось долго ломать голову над тем, где раздобыть упаковочный материал для картин. Наконец, я сообразил, что лучше всего пойти в магазин крупного электрооборудования и купить у них – налево, естественно, – картон для упаковки холодильников. Итак, все шло как нельзя лучше, как вдруг ни с того, ни с сего дело застопорилось. Началось, как и положено, с картин. Я хотел, чтобы таможенный досмотр проходил не в Бресте, а в Москве, пока все картины еще не запакованы. Начальник багажного отдела покачал головой:

– Напрасно вы это! Эмигрантов ведь тьма тьмущая, и каждый увозит с собой все до последнего гвоздя. Так что прождете не меньше недели.

Какая неделя! Я кинулся к Георгию Дионисовичу Костаки, который, оплатив валютой через советское агентство для иностранцев, уже отправил за границу багаж Целковых. Георгий Дионисович всей душой рад был мне помочь, но уже через два дня, расстроенный, сообщил, что "агентство отказывается заниматься картинами Рабина".

Времени оставалось в обрез. Я плюнул на все и решил лететь самолетом, однако железная дорога отказывалась возвращать деньги за билеты, да и где гарантия, что в аэропортовской таможне нас продержат меньше?.. Итак, двери автоматически захлопывались одна за другой, и я уже начинал себя спрашивать, не нарочно ли все это подстроено? Не специально ли они нас мытарят и мучают? Ведь в их распоряжении – тысячи предлогов, чтобы сорвать эту поездку. И, как всегда в таких случаях бывает, на меня напало тупое равнодушие: да пошли они ко всем чертям! Да провались и сумасшедшая эта беготня по Москве из конца в конец, и многочасовое стояние в очередях! Не поеду – значит, так суждено.

В самый критический момент – вдруг звонок в дверь. Открываю – Лева собственной персоной, как всегда, улыбающийся, вежливый, благожелательно настроенный.

– Ну, что вы скисли?

Я обо всем рассказал и махнул рукой:

– Наплевать! Если не поеду, ведь не издохну же от этого?

Лева вздохнул:

– И что за дурная привычка все усложнять! Мой вам совет – пойдите в ОВИР и скажите: так, мол, и так, не могли бы вы мне помочь?

Я вскочил:

– Да почему они должны мне помогать?! Я такой же человек, как и все, и вовсе никому не хочу быть обязанным! Почему я должен идти обходными путями?

Лева невозмутимо смотрел мне в глаза:

– И все-таки, – спокойно сказал он, – я вам настоятельно советую позвонить в ОВИР.

Я тут же позвонил Зотову. Он попросил немедленно зайти к нему.

– А-а! – довольным голосом протянул он, увидав меня. – А я-то думал, что вы давным-давно на Лазурном берегу французские пейзажики рисуете. Ну, ладно, ладно.... Что там опять стряслось?

Выслушав, подумал:

– А нельзя ли картины взять с собой в купе?

– Контролеры не разрешат, – ответил я. – Купе в поезде очень маленькие.

– А вы купите еще одно купе, вот и не будет маленькое. На такие дела скупиться нельзя, – хитренько прищурился он.

– Да не дадут купе под багаж! – возразил я.

– Дадут! – веско ответил он. – Идите в "Метрополь" и спокойно все оформляйте. Сошлитесь на меня.

Я замялся:

– Да вот еще... Боюсь потерять время в Бресте при таможенном

досмотре. Пока дойдет наша очередь, паспорта потеряют годность.

Зотов помолчал, вздохнул, почесал нависший над глазами лоб:

– Обмозгуем и это... Ведь три дня в неделю там работают "наши" люди (он не уточнил, что значит – "наши"). Значит, вам надо попасть в этот день.

Вечером я снова ему позвонил, и он посоветовал выезжать из Москвы 3-го января.

Тут я должен отметить один факт, который намного укрепил мою уверенность в благополучном возвращении на родину. Как раз незадолго до нас по туристической путевке на шесть месяцев к старшему сыну в Америку уехал генерал Григоренко с женой и младшим сыном.

Впервые я увидел Григоренко во время суда над Павлом Литвиновым. Суд шел при закрытых дверях, однако вокруг здания толпилась масса народу – родители, друзья, иностранные корреспонденты и "рабочие", которые подходили то к одному, то к другому и затевали разговоры, вроде того, что, мол, судят шпионов, которые брали денежки у ЦРУ. Вот теперь пускай и расхлебывают то, что заслужили.

Я пришел туда с Андреем Амальриком и несколькими друзьями. Амальрик показал мне на высокого, массивного, уже немолодого человека с наголо бритой головой и в синем плаще военного покроя. Такие носили в сталинские времена офицеры в отставке. Уже издалека слышался зычный уверенный голос. Генерал грозно выговаривал какому-то чину в милицейской форме. Сквозь толпу пробилось несколько девушек с цветами, приготовленными для защитников, которые тогда мужественно выступали на процессе. Цветы у девушек грубо вырвали. Но скоро появились новые.

Помнится, облик генерала меня тогда несколько разочаровал. Нацепи ему погоны, награды, знаки отличия – и будет вылитый советский генерал, нетерпимый и грубый. Спустя недели две Петр Григорьевич с женой через общих друзей попросили разрешения посмотреть наши картины. Вскоре они приехали на Преображенку. Лишь поближе с ним познакомившись, я понял, каким обманчивым было первое впечатление. Стояло лето. Петр Григорьевич был в белой рубашке с отложным воротничком, веселый и улыбающийся. Кажется, будь у него висячие усы и оселедец на лысой голове, получился бы вылитый Тарас Бульба. Его жена, Зинаида Михайловна, женщина на редкость мягкая и доброжелательная, обладала еще и даром превосходно рассказывать.

Они с любопытством разглядывали картины. В целом же супруги произвели впечатление людей удивительно веселых, жизнерадостных и, как ни странно, молодых. Зинаида Михайловна, верная спутница мужа, готовая ради него на любые лишения, во всем ему помогала. Помню, как с карандашом в руке она склонилась над списком потенциальных "подписантов" в защиту осужденных и преследуемых. Ставя галочку против некоторых фамилий, Зинаида Михайловна безо всякого, впрочем, осуждения в голосе замечала: "Этот подпишет, этот не подпишет".

В их небольшой квартирке с утра до ночи толпился народ. Когда

ни придешь – крымские татары, диссиденты, приезжие из провинции, люди, просто нуждавшиеся в совете и помощи. У супругов Григоренко дышалось на редкость легко и свободно, и все чувствовали себя там, как дома. Глядя на энергичного, день и ночь работавшего Петра Григорьевича, никто бы не догадался, что он нуждается в серьезной операции. А дело обстояло именно так. Подобную операцию ему могли сделать только в Штатах. Американские хирурги подтвердили согласие ее провести, сын прислал приглашение.

Петр Григорьевич и Зинаида Михайловна отправились в местный ОВИР, где инспекторша категорически отказала в предоставлении визы. Они настаивали. Тогда инспекторша позвонила начальству и вдруг произошло чудо. Как они потом рассказывали, их через некоторое время вызвал Зотов. Григоренки пришли, но оказалось, что в тот день приема не было, и дежурный милиционер попросил их придти завтра. Не успели они направиться к выходу как вдруг видят: бежит к ним навстречу вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, тучный человек и кричит:

– Дорогой Петр Григорьевич! Дорогая Зинаида Михайловна! Добро пожаловать! Идите, не стесняйтесь – прямо за мной. Мой кабинет на втором этаже, но вы ведь больны, как я слышал, вам тяжело подниматься, поэтому я приму вас на первом.

Зотов усадил их в кресло и, вынув из досье три уже готовых паспорта, широко улыбнулся:

– Дети мои!..

"Дети" недоуменно переглянулись.

– ...вам невероятно повезло! Осталось лишь заплатить за паспорта – и вы можете ехать!

Некоторое время супруги, ошарашенные происходящим, сидели молча. Наконец, Григоренко попытался уточнить, как же все-таки будет обстоять дело с возвращением в Москву:

– А какие у меня гарантии...

Как позже рассказывала Зинаида Михайловна, Зотов небрежно швырнул паспорта и дрожащим от обиды голосом сказал:

– Вы м н е не верите?! М н е?! Так я честью своей клянусь!

В течение трех дней Петр Григорьевич и Зинаида Михайловна пребывали в каком-то шоке и никому ни о чем не рассказывали. В следующий раз, когда они приехали платить за паспорта, Зотов принял их с таким же радушием. Потом вдруг ни с того, ни с сего резко переменился, нахмурился и раздраженно заявил:

– А скажите-ка, дорогие мои, поделились ли вы уже своей радостью с иностранными журналистами? Ах, нет! Так почему же?! Поразительная вещь! Ведь вы же всегда заботливо их держите в курсе происходящих дел. А сейчас вдруг примолкли. Так сообщите же поскорей иностранцам, что едете к сыну в Америку, что там вам сделают удачную операцию, и вы счастливые, поздоровевшие, вернетесь домой!

Зинаида Михайловна так точно передала эту сцену, что Зотов, как живой, возник перед моими глазами.

Григоренки не замедлили, конечно, тут же огласить новость. О ней сообщили иностранные радиостанции, и вскоре по Москве только и разговору было, что об отъезде генерала Григоренко в турпоездку за границу. Советская пресса и радио, естественно, не обмолвились об этом ни единым намеком. Иностранные комментаторы задавались вопросом, почему Григоренкам разрешили уехать и знаменует ли это перемены в политике руководства. Ведь разрешили уехать диссиденту, мученику. Ему разрешили, но других по-прежнему судят, сажают, ссылают, запихивают людей в психушки.

Однако вернемся к нашему отъезду. Все, наконец, уладилось. Друзья упрашивали устроить прощальный вечер, вроде того, который устроил у нас на квартире Юра Жарких. Я отнекивался: вот когда вернемся, тогда уж устроим пир на весь мир! На вокзал ехали на нескольких такси. Там нас уже поджидало человек шестьдесят. Принесли с собой водку, чокались, обнимались, пили за наше возвращение, а так как отправление поезда задерживалось, то веселье разгоралось все с новой и новой силой. Наконец, поезд тронулся, и мы поехали, сопровождаемые смехом, криком и слезами. В Бресте, благодаря Зотову, все прошло без сучка и задоринки – картины даже не смотрели. Потом таможенники и границы последовали с такой быстротой, что о сне или маленьком отдыхе нечего было и мечтать. В Кельн прибыли измученные, невыспавшиеся. И сразу же надо было давать интервью, выступать по радио.

Мы бродили по городу, как во сне, жили в какой-то волшебной сказке. На повороте улицы вдруг увидели верблюда, который медленно шествовал по белеющей от снега мостовой. И я ничуть не удивился. Ну и что? Ведь на то он и Запад... Ведь все же это сказка. А в действительности в Кельне просто-напросто все еще продолжался рождественский карнавал. Однако настоящий шок вызвало у нас обилие свежих овощей, фруктов, забитые мясом и колбасами магазины и полное отсутствие очередей. Еще удивительней показались киоски, полные всевозможных – со всего мира – газет, журналов в немыслимо ярких обложках, и прохожие, которые равнодушно на все это богатство смотрели. В этот же вечер мы вместе с Сашей Глезером, который приехал в Кельн, сели в поезд, направлявшийся в Париж. Приехали в Монжерон, старинный замок, где в послевоенные годы находился детский дом для русских сирот. Теперь часть пустующих помещений предоставили для музея. Когда вошли в небольшой зал и очутились среди знакомых, "своих" картин, то сразу почувствовали себя, как дома. Потом на кухне пили чай, до полуночи вспоминали и рассказывали. В общем, было хорошо.

Пока все шло, как предсказывал Зотов: я собирался продлевать визу на шесть месяцев, мы с Валей много работали, ходили в музеи и галереи, успели даже по Франции поездить. Мы сняли четырехкомнатную квартиру в одном из старинных кварталов Парижа. Мне нравились узенькие, тесные улочки, широкие бульвары, дома, похожие на корабли, и балконные решетки, словно сделанные из железных кружев.

Однако не прошло и месяца, как моя уверенность в благоприятном

течении событий сильно пошатнулась. В феврале 1979 года мы узнали, что генерала Григоренко лишили советского гражданства. Расстроенный, сбитый с толку, я пытался уговорить себя тем, что в случае с генералом начальство, возможно, преследовало особые цели: это был акт политический, касающийся именно бывшего советского генерала, бывшего коммуниста, бывшего "ихнего человека", который теперь с ними боролся и был поэтому вдвойне ненавистен. А я – художник... Ну что я им?..

События, во всяком случае, казалось, подтверждали эту точку зрения. Советское консульство в Париже, наведя справки в Москве, продлило наши визы до октября. И вдруг – как удар грома среди ясного неба – лишение гражданства Ростроповича и Вишневской. Помню, в тот же вечер мы с Валей решили срочно возвращаться в Москву, не дожидаясь срока истечения визы. Бог с ним, с Парижем! Надо скорее собираться – предупредить живущих в московской квартире друзей, купить билеты на самолет, найти поинтересней журналы и каталоги по искусству, накупить подарков родным и знакомым.

Как всегда, приняв решение, я успокоился и трезво рассудил, что вот, мол, как-никак, а прожили мы в Париже шесть месяцев и успели за это время многое посмотреть, получить массу впечатлений, так что останется на всю жизнь. Будет теперь о чем порассказать друзьям. Ну, а теперь, как говорится, хорошенького понемножку – пора и честь знать.

Вечером 22 июня мне позвонили из советского консульства и попросили завтра утром зайти к консулу. На другой день была пятница, и я собирался на вернисаж 26-го Салона "Святое искусство" в помещении около Люксембургского сада. Там висело несколько наших с Валей работ.

Утром иду по улице Прони (там находится советское консульство), а на сердце кошки скребут: чувствую, что ничего хорошего это свидание не сулит. Консул принял меня в своем роскошном кабинете и пригласил сесть в кресло напротив. Затем торжественно прочитал по бумажке, что "Указом Президиума Верховного Совета СССР решено лишить советского гражданства Рабина Оскара Яковлевича в связи с тем, что его деятельность позорит звание советского гражданина".

Я помолчал, стараясь сообразить, что же в таком случае надо говорить. Потом спросил, нельзя ли получить копию этого Указа, на что консул любезно ответил, что нет, нельзя, потому что Указ еще не опубликован в печати, а у него имеется лишь текст полученной из Москвы телеграммы. Я шел по улице Прони, и все плыло перед моими глазами. По дороге зашел в телефонную будку и позвонил Вале.

Потом мы пошли на вернисаж, где новость моментально распространилась. Ко мне подходили, говорили сочувственные слова, участливо обнимали. Надо было что-то делать, куда-то идти. Саша Глезер уже захлопотал – позвонил на "Свободу", в редакции газет. Надо было собирать пресс-конференцию. А я словно выключился из жизни – напало странное отупение, безразличие ко всему. Кое-как дождался вечера, пошел к друзьям и напился до потери сознания. Так началась моя третья жизнь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
МОЯ ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ

Ни Валю, ни Сашку гражданства не лишили. Вскоре сын попросил во Франции политического убежища, а Валя получила постоянный советский паспорт. Но как когда-то я не хотел уезжать из Москвы без нее, так теперь она не хотела ехать в Москву без меня. И все-таки этот паспорт оставался как бы тоненькой ниточкой, которая связывала ее с дочерью, внуками, Россией.

Вскоре мы переехали в другую квартиру, возле Монмартра – поменьше, но комфортабельней. Обставили ее очень скромно, дешевой, разнокалиберной мебелью, и когда я поставил в большой комнате мольберт, то удивился, до чего же новая квартира стала напоминать Преображенку!

Саша поселился отдельно, много работал и выставлялся. А у нас потекло по-старому: Валя в дальней маленькой комнатке, за столом, рисовала свои рисунки, я с утра становился возле мольберта и пытался передать "свой" Париж.

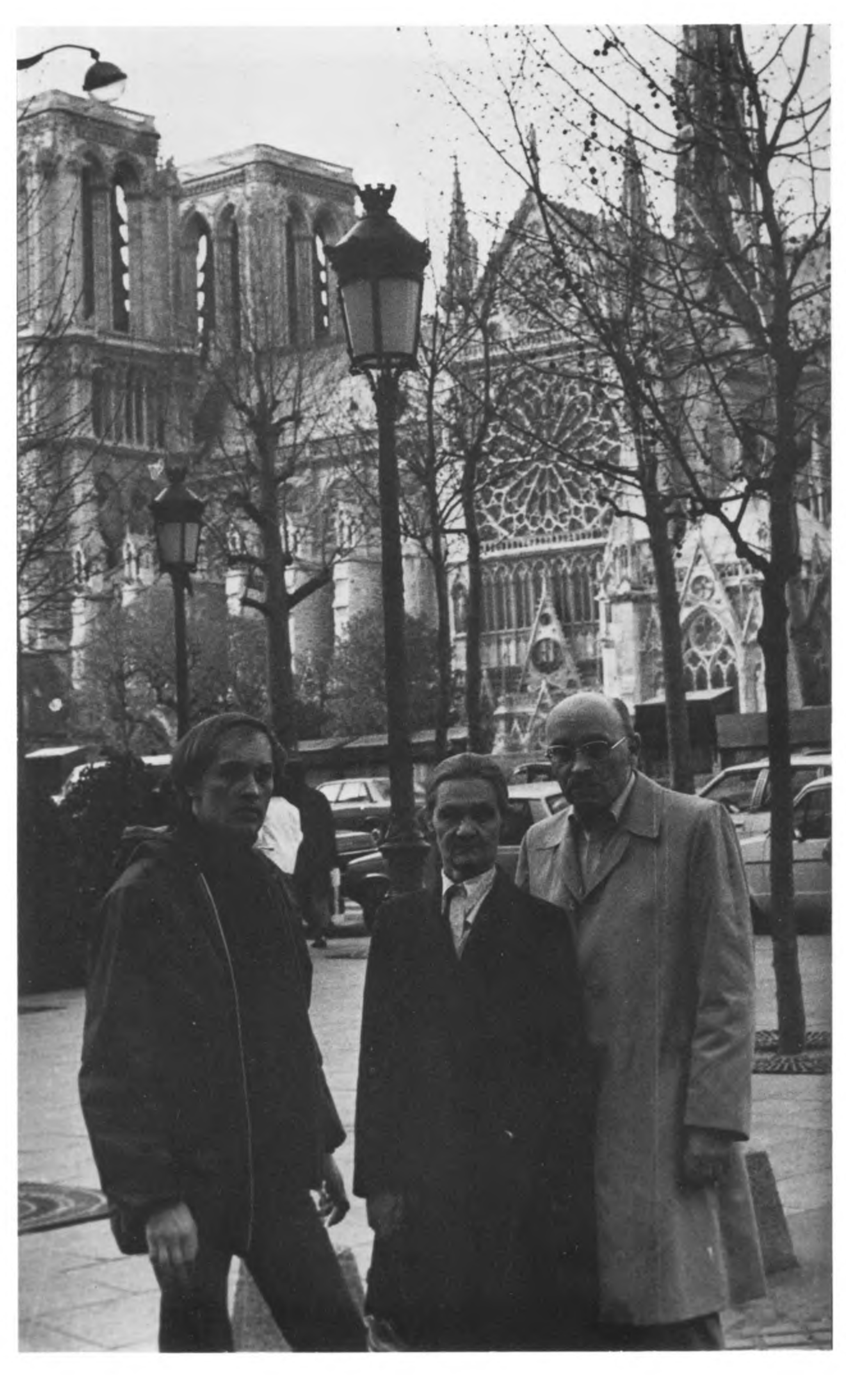
Хотя эта книга и называется "Три жизни", но последней из них я коснусь только чуть-чуть, да и то лишь информативно. Невозможно же писать воспоминания о жизни, в которой живешь. Это уже будет какой-то иной жанр, а я все-таки не писатель.

Итак, в Париже в 1978 году началась моя третья жизнь, причем началась для меня совершенно неожиданно. "Пять лет, – так говорил мне в Москве мой друг, – ты будешь входить в иную действительность, в иной мир, в иные краски, в иной язык". Он ненамного ошибся – и правда, пришлось нелегко. Но это были уже не советские трудности, которыми нас так заботливо окружало начальство. Тут были трудности естественные, трудности, с которыми обычно сталкивается художник. Я писал картины и оставался недоволен ими, я искал себя здесь, я экспериментировал, я осваивал новую для себя страну, точнее, осваивал Париж, который сегодня уже могу назвать родным городом. И жил я все эти годы чисто профессиональной жизнью: выставлялся, продавал картины, покупал краски и холсты, писал новые картины и т.д. Участвовал я во многих русских и международных групповых экспозициях, состоялось у меня несколько выставок персональных. Вместе с картинами я побывал и в Нью-Йорке, и в Дюссельдорфе, и в Женеве, и во многих других европейских городах. В общем, очень щедрой в этом (да и не только в этом) плане оказалась моя третья жизнь. За семь лет пребывания в ней я принял участие более чем в пятидесяти экспозициях. А за две советские жизни – лишь в пяти-шести. И каких! Впрочем, об этом я уже написал. И еще удалось мне с друзьями за два последних лета объ-

ездить Испанию и Италию, увидеть... Кто из художников не мечтал об этом?!

Ну, что еще описывать? Любимый мною Париж? О нем уже понаписано столько! Пожалуй, закончу о своей третьей жизни так: в июле 1985 года получил я от города Парижа ателье с высоченными потолками, с кухней и ванной и, простите, туалетом. Да еще рядом с Музеем современного искусства, который здесь называется коротко Бобуром. Прямо перед моим окном площадь около музея, на которой сидят художники и пишут картины, тут же играют музыканты, демонстрируют свое искусство фокусники, кто-то танцует. И так до глубокой ночи... Париж и вообще-то город карнавальный, а здесь, как говорится, слошной карнавал. Хемингуэй написал о Париже книгу "Праздник, который всегда с тобой". Но он-то в переносном смысле говорил, он-то в Париже постоянно не жил. А мой Париж – праздник и впрямь со мною всегда. И если я куда-нибудь еду, то возвращаюсь в Париж, как домой. И праздник продолжается.

А картины на русские темы, которые иногда я пишу и сейчас – не ностальгия. Эти картины-воспоминания – просто память о прошлом. Ведь его, каким бы оно ни было, из сердца не выкинешь. И прежняя любовь и нелюбовь – они тоже остаются со мной в Париже. И порою выскакивают на полотна. Но, в основном, все-таки я пишу Париж, этот карнавал жизни, карнавал чувств и судеб, да еще в последнее время и Нью-Йорк, в котором я недавно побывал и который меня сразу покорил. По-другому, чем Париж, но тоже захватил. Так вот она и идет – третья жизнь.



Оскар Рабин, Валентина Кропивницкая и Александр Рабин в Париже, 1985.



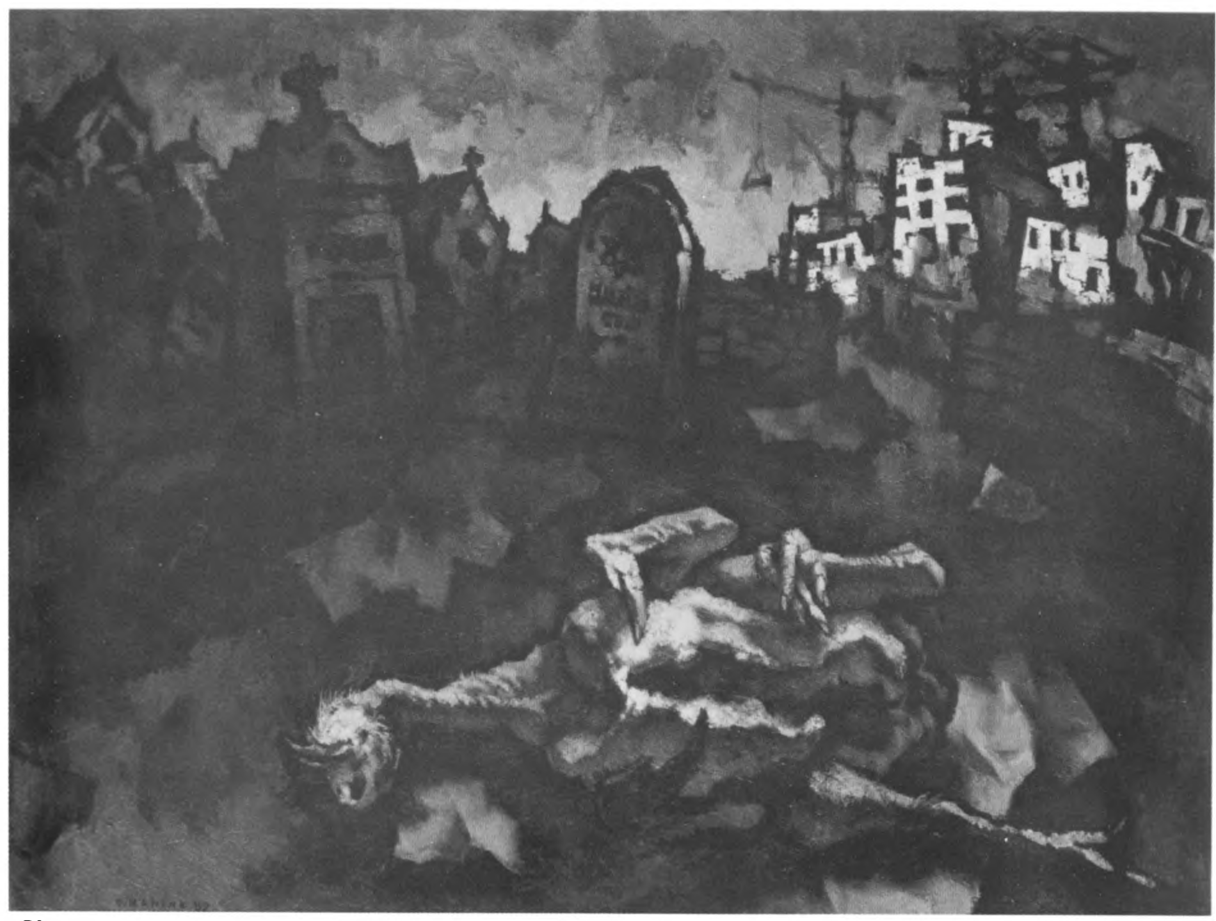
«Натюрморт», холст/масло, 110 X 90, 1981.



«Парижский натюрморт», холст/масло, 60Х73, 1983.



«Натюрморт с красками», холст/масло, 70X90, 1983.



«Курица на кладбище», холст/масло, 73x92, 1982.



«Парижский пейзаж с клошарами», холст/масло, 73X92, 1984.



«Автопортрет», холст/масло, 65Х92, 1983.



«Портрет Мари-Терез», холст/масло, 90X100, 1984.



«Парижские мотивы», холст/масло, 90X110, 1985.



«Прогулка по Монмартру», холст/масло, 90X110, 1986.

СОДЕРЖАНИЕ



Оскар Рабин — не эмигрант, а изгнанник. В 1978 году Указом Президиума Верховного Совета СССР он был лишен советского гражданства. Вся его вина состояла в том, что Рабин на протяжении многих лет был лидером московских художников-нонконформистов и бескомпромиссно отстаивал право на свободу творчества. Он являлся инициатором и одним из организаторов двух знаменитых, вошедших в историю русской культуры, московских выставок на открытом воздухе. Первая из них, состоявшаяся 15 сентября 1974 года на Беляево-Богородском пустыре, была разгромлена милицией и бульдозерами. Вторая, открывшаяся на четыре часа в Измайловском парке 29 сентября 1974 года, стала первой официально дозволенной экспозицией неофициального русского искусства.

Уже с 1957 года Оскара Рабина начала травить советская пресса, не раз обрушивались на него репрессии милиции и КГБ. Но ничто не могло запугать художника. И вот итог — изгнание...

Почти восемь лет живет Оскар Рабин в Париже. Еще когда он был в Москве, о нем не раз писали западные искусствоведы, в Лондоне в 1965 г. и в Париже в 1976 г. с успехом прошли его персональные экспозиции. В то время картины Оскара Рабина неоднократно демонстрировались на групповых выставках неофициального русского искусства в Европе, США и Японии.

С тех пор, как Рабин живет на Западе, четыре его персональных выставки прошли в Европе и США, регулярно выставляется он на парижских салонах, принимает участие во многих групповых экспозициях русских неофициальных живописцев во Франции, Западной Германии, Англии, Швейцарии, Италии, Норвегии, США. Его картины приобретают и коллекционеры, и музеи, и Министерство культуры Франции.

Книга воспоминаний Оскара Рабина (другой вариант) вышла в 1980 году в Париже на французском языке.